

И468288

Н. ЗАДУМКИН <sup>со</sup>

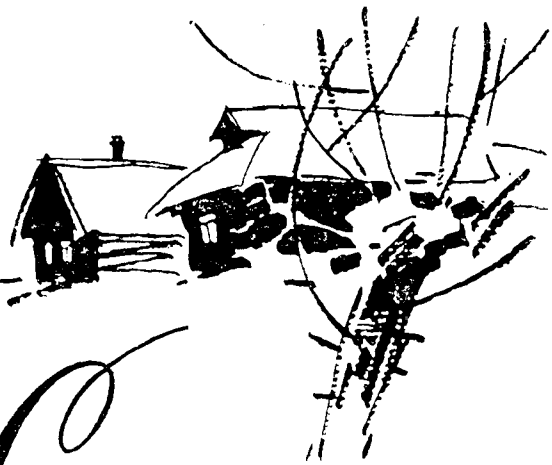


# СОСЕДИ



СКАЗЫ

Н. Вадулкин



Т 468/288

# СОСЕДИ

РАССКАЗЫ

**ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ  
БИБЛИОТЕКА**

ВОЛОГОДСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО 1963

*Николай Задумкин известен читателям по сборнику рассказов «Половодье», изданному в 1959 году. В новый его сборник вошли лучшие произведения, написанные за последние два-три года.*

*Герои рассказов Николая Задумкина — простые советские люди, труженики села. Автор стремится раскрыть их лучшие качества, показать любовь к Родине, чувство коллективизма, стойкость, мужество. Многие страницы рассказов посвящены природе северного края.*



## БЛОЧКА ПОД КАРНИЗОМ

**К**

1

ОГДА на землю упали первые дымные росы, подружки все чаще стали спрашивать Глашу Тимофееву, скоро ли вернется ее жених из армии. Глаша, веселая, кареглазая девушка с озорной челочкой на лбу, задумываясь, опускала глаза и, теребя тонкими пальцами концы сиреновой косынки, тихо отвечала:

— Ой, девочки, даже не знаю, что и подумать.

— Пишет?

— Уже четыре месяца ни строчки.

— А ты сходи к ним, — посоветовала ей однажды Настя Кравцова, кивнув головой на дом стариков Ребровых. — Родителям-то, сказывают, приходят письма.

Глаша отрицательно покачала головой и мелко взглянула на добротный пятистенок Ребровых, где под карнизом уже начала вянуть некогда нарядная елочка, прибитая ее руками в тот день, когда уходил в армию самый лучший парень деревни Семен Ребров.

**Елочка под карнизом!**

Девушки нашей деревни, провожая любимого в армию, наряжают лентами елочку. Алыми, голубыми, синими... Елочку выбирают нежную и крепкую, какой и должна быть любовь. Елочку с песнями крепят под карнизом дома будущего воина. А карнизы под крышами наших домов затейливой резьбы, словно кружева опоясывают дом с трех сторон. И стоит, красуется под карнизом нарядная елочка. Всяк проходящий, увидев ее, узнает, что в этом доме живут родные солдата, что любовь одной из бойких деревенских хохотушек находится где-то далеко.

Елочки под карнизом стоят год, два и три — пока не вернется солдат. Они не вянут, не осыпаются, ленты на них не выгорают. А почему — об этом лучше всех знают сами девушки. Известно только, что иногда по вечерам они уходят в ближайший перелесок, скупив почти все ленты в сельмаге, а потом долго шушукаются на тихой деревенской улице. В последнюю войну елочки под карнизами домов выстаивали по пять-шесть лет.

В прошлом году в деревне Станегово под карнизами стояло шесть елочек. Первым пришел из армии Родион Валетов — и одной елочки не стало. Родион, парень саженного роста, прямо с земли (дом был низенький) снял ее и отнес колхозной доярке Насте Кравцовой. И тогда все в Станегове узнали: быть осенью свадьбе.

Второй исчезла елочка с дома старика Антипыча, сторожа фермы. Антипыч после этого три дня ходил по улице пьяненький. Сын Иван, еще не снявший с плеч сержантские погоны, уговаривал отца:

— Батя, попил — и хватит. Все пиво и вино не перепьешь.

— А мне всего и не надо — тебе оставляю, — подмигивал он сыну. — Ты с меня стружку не снимай, а готовь внуков, вот что я тебе скажу...

Не успели еще смолкнуть в березовой роще хороводы, устроенные девушками в честь Родиона и Ивана, как вернулись в родное гнездо Филипп и Василий Кукушкины — братья-близнецы.

И еще двух елочек в деревне не стало.

Пятым демобилизовался Алексей Егоркин, Лешка-подпасок, как его раньше называли. По правде сказать, его в Станегове почти не ожидали — у Егоркина здесь никого из родных не было. Но Алексей вернулся. Пришел он в деревню ночью, робко приблизился ко второй с краю избе, глянул под карниз — елочка стояла там во всей своей красоте. Теперь уж смело он направился к дому невесты, ступил на скрипучие половицы крыльца.

— Кто там? — слышался знакомый голос.

— Нюра, это я, Алексей, — ответил он, прислушиваясь к стуку сердца.

Звякнула щеколда.

— Леша, родной!..

В девять утра к дому Нюрки, словно сговорившись, подошли Родион Валетов, Иван Чуднов и братья Кукушкины.

— А ну, показывай зятенька, хозяйка, — закричали они вышедшей на крыльцо матери Нюрки. — Нашего полку опять прибыло.

— Их нет. Ушли в сельсовет. Расписываться, как и договаривались, чтоб в первый день, — просто сообщила изумленным парням Кондратьевна. — Когда вернутся, прошу на пироги.

— Вот это натиск! — воскликнул Родион и добавил, обращаясь к братьям Кукушкиным: — Эх, вы, гуси-лебеди, Алексей-то всех нас опередил.

Ставились в Станегове новые срубы. Прибавлялось в деревне людей. Улучшались дела в колхозе. Постепенно исчезали из-под карнизов нарядные елочки.

И только елочка Глаши Тимофеевой продолжала стоять, роняя на землю жесткие иголки.

## 2

Глаша несколько раз порывалась зайти к старикам Ребровым, справиться о Семене, но почему-то не решалась.

Как-то вечером, возвращаясь с расстила льна, она повстречалась за околицей с Кондратом Ребровым, отцом Семена. Опершись на суковатую палку, Кондрат уступил Глаше тропинку и заговорщически произнес:

— Слышь, Глафира, тут Семен тебе писульку послал... В поселке он.

Глаша вздрогнула от этих слов, взяла записку. — Что уж пишет, — притворно вздохнул Кондрат Федорович, заглядывая через плечо Глаши.

Она ничего не ответила, так как хорошо знала, что эта писулька, как выразился старик Ребров, прочитана им до нее несколько раз. Глаша прочитала записку, постояла минуту, полузакрыв глаза, и побрела домой напрямки, оставляя позади себя в высокой, доходившей до пояса траве, росный след.

Росы в августе падают на землю еще до заката солнца. Молочные туманы опускаются на низкие поля, обволакивают созревшую рожь, словно кисеей накрывают дальние перелески. В начале августа начинается жатва, расстил льна, наступает ягодное и грибное время. В страдную пору потерять день-два в работе хуже, кажется, чем тяжело заболеть.

И вот в такую-то жаркую пору лучшей льноводке колхоза Глаше Тимофеевой вдруг понадобилось ехать в райцентр. Председатель Федор Колотиллов повертел в руках заявление Тимофеевой и хотел уже черкнуть на уголке короткое, но жесткое слово «Отказать», но о чем-то, видимо, вспомнил, взглянул на потупившуюся девушку, вздохнул и написал: — «Только на один день».

«Надо успеть», — решила Глаша, забежала домой сказать матери, затем наказала соседке Насе Кравцовой начинать расстил льносоломки на Мокром лугу без нее и побежала в ту сторону, откуда ветер доносил в Станегово еле слышимые паровозные гудки.

Многих еще раньше увели из колхоза эти гудки. Одних на время, иных — навсегда. Глаша вспомнила, что где-то в городе работает дворником ее дядя, богатырь и плясун. Ушел он в трудное для колхоза



время искать легкой доли. Бросила вместе с ним ферму тетка Агафья, некогда даже получившая медаль за труд.

Но не каждый способен жить в долгой разлуке с родными местами. Вернулась из города семья Кичевых. Приехал с завода Иван Паутов да и молодуху еще привез. «Знаете, — признался он, — все время думал: как-то там без меня хозяйство поднимают... Вроде дезертира чувствовал себя. К тому же все время знакомые поля и перелески мерещились. Приду летом с завода, лягу спать, закрою глаза и вижу нашу речушку Нурду, всю в ряске, а над речкою стрекозы... Запах трав, поверите ли, чувствовал так, что аж голова кружилась».

Чувствует ли все это Семен? Глаша остановилась посреди широкого поля. Клонится на ветру пшеница, переливаются колосья. Кружатся над тропинкой парашютики поздних одуванчиков. Пахнет мятой...

— Эх, Семен, Семен...

### 3

Семен не ждал Глашу. Он не писал ей, чтобы приехала. Но Глаша решила выяснить, как она потом выразилась, обстановку до конца. Найти общежитие льнозавода было нетрудно — в поселке не так уж много общежитий.

Семена Реброва она застала в комнате одного. Он лежал на железной кровати, застланной сереньким одеялом, прямо в одежде, положив ноги в солдатских сапогах на придвинутую табуретку. Семен курил дешевенькую папиросу, а пепел стряхивал прямо на пол.

— Глаша! — увидев ее, вскочил он с кровати.

— Здравствуй, Сеня.

— Глаша! — повторил Семен и шагнул к ней.

Девушка тоже сделала шаг вперед, пристально посмотрела в серые глаза Семена и молча склонила свою голову на его грудь. Несколько минут они так и стояли, не говоря друг другу ни слова. Наконец Глаша легонько оттолкнула Семена и вновь пристально взглянула в его лицо.

Да, перед нею был тот же самый Семен Ребров. Те же прищуренные, с хитринкой глаза смотрели на нее. Но только в них сейчас были заметны радость и какой-то затаенный испуг. Внешне он мало чем изменился — был крепышом и остался им.

Был уже полдень. Немилосердно палило солнце. Мимо общежития прошел грузовик, и улицу заволокло серой пылью. Глаше в это время вспомнилась родная деревня. По Станегову тоже часто проезжают колхозные автомашины, но вот такой пылищи не бывает.

— А я тебя не ждал, Глаша, — признался Семен, придвигая к Глаше табурет. Сам он присел на кровать.

— А я ждала. Только там, в деревне. Почему же не приехал?

— Решил здесь остаться, — ответил Семен. — Ведь в армии-то механиком я стал. Родители были не против. Думал, поработаю на заводе, скоплю денег, приоденусь и заявлюсь в деревню.

— Ты бы лучше сразу заявился, — сказала Глаша. — Ведь я... мы так тебя ждали.

— И приеду. Но только за тобой, Глаша, — горячо произнес Семен. — Или ты сама ко мне переезжай. Чего ты в деревне не видела?

— Но ведь наши все там, — удивилась Глаша. — Там подруги, родители, работа...

— Работа, родители, — усмехнулся Семен. — Что она дает, работа? Испытал когда-то на себе. Теперь — хватит.

— Но ведь это было раньше, а сейчас совсем, совсем иное дело, — возразила Глаша.

— Родители скоро перемрут, — не слушая ее, продолжал Семен. — Сколько им уже годов-то? Под шестьдесят. Скажи, кто же тогда в Станегове останется?

— Мы.

— Но не я.

— Вот, собственно, я за этим и приезжала сюда, — грустно произнесла Глаша. — Теперь мне все понятно.

— Что понятно? — спросил Семен.

— Не любишь ты меня...

— Глаша, зачем так? — Семен протянул к ней руки.

— Не надо, не надо... — Глаша поднялась с табурета. Встал и Семен. — Если б... то сразу... Как Родион, как братья Кукушкины...

— Я так не мог, — вдруг жестко произнес Семен. — У меня своя голова на плечах. Надо жить своим умом.

— Ах, так, — Глаша шагнула к порогу.

Семен догнал ее, на ходу надевая пиджак.

— Ну, не сердись, — примирительно сказал Семен.

— Я и не сержусь. Только мне здесь долго оставаться нельзя. Ждут меня там.

Они вышли вместе и еще долго сидели на скамеечке пристанционного скверика. Глаша убеждала

Семена ехать в деревню, рассказывала ему о новом председателе, о своем звене, о том, что в Дунайке нынче много ловят рыбы, о старике Антипыче, который на радостях, что вернулся сын Иван из армии, напился так, что всю ночь проспал в лопухах на задворках своего же дома...

— Нет, Глаша, — разубеждал ее Семен, — теперь все в город стремятся. Ты подумай об этом.

Подошел дачный поезд.

— Приезжай, — сказал Семен Глаше.

— Приезжай, — ответила Глаша Семену.

#### 4

Вернулась Глаша домой под вечер.

Подруги, завидев ее, разогнули натруженные спины и еще издали закричали:

— Отдыхала бы. Небось, набегалась за день.

— Нет, я на работе не устаю, — ответила Глаша, хотя всем было видно, что она очень утомлена.

Остаток дня Глаша работала молча. А когда возвращались домой, она, как бы между прочим, сообщила подругам:

— Скоро и моей елочки не будет.

В этот вечер она дольше обычного сидела на крыльце своего дома с раскрытой книгой в руках. Между страниц книги лежала фотография. Глаша пристально, испытующе всматривалась в черты знакомого лица, на миг закрывала книгу, задумывалась и опять смотрела в чуть прищуренные, с хитринкой глаза, на плотно сжатые тонкие губы, в уголках которых пряталась едва заметная усмешечка. Семен Ребров вышел на фотокарточке таким, каким был в жизни.

Утром следующего дня на крыльцо Глашиного дома вбежала, запыхавшись, Настя Кравцова.

— Глаша, Глаша! — забарабанила она в дверь. — Какую я тебе новость скажу... Да выйди же на крыльцо!..

Глаша открыла дверь, шагнула навстречу Насте.

— Заспиха. Сенька вернулся. Вот не сойти мне с этого места. Сейчас иду и вижу, елочки-то под карнизом нет, — без передышки выпалила Настя.

— Это я ее... сама сняла... Ночью, — тихо сказала Глаша.

— Ты? Сама?

— Он в колхоз не вернется. Родители, говорит, в поселке посоветовали остаться. Там, мол, легче жизнь устраивать... Семичасовой рабочий день, Дом культуры... Говорит, скоплю деньжонок, поженюсь...

— Ты... согласилась?

Глаша не ответила. Она молча подошла к перилам крыльца, окинула взглядом ширь полей, за которыми вдали в утренней дымке синела зубчатка Станегового бора, потом опустила глаза вниз. У крыльца на примятой траве валялись обрывки фотографии. Настя Кравцова спустилась с крыльца, подняла один из обрывков покрупней, разгладила его на ладони, но разобрать ничего не смогла. Бумага была сырой и липкой, так как ночью прошел дождь.

---



## СОСЕДИ

**В**

1

СЕ ЕЩЕ недужится Митрич?

— И не говори, сосед. Хворь, она, окаянная, в наши годы как прицепится, так никак ее до скончания не стрясешь. Заходи поку-  
рить.

Окно закрывается, стучает калитка, и вот уже старые дружки, Афиноген Дмитриевич Варакин и Николай Петрович Знобишин, сидят на лавке, в

переднем углу, мирно беседуют. Разговор обычно начинается с того, как гуляли в парнях, как потом лежали в окопах в лесу под Ченстоховым, как после революции они вернулись домой, в родные Ельники...

Проходит час, второй... Отравный махорочный дым тяжелеет, из-под потолка опускается ниже и вот уже наслаивается над полом. А горка окурков на ржавой сковородке растет и растет.

— А что, Петрович, не пора ли и тебе на пенсию, а? — спрашивает под конец Варакин соседа. — Ведь тебе никак шестьдесят два на Духов день стукнуло.

— Залезть на печь никогда не поздно, — хмурится в ответ Знобишин, втыкая «козью ножку» в сковородку. — Только вот одно страшновато, — добавляет он, усмехаясь, — заберешься выше полу, а спустят гораздо ниже. Лучше уж на ногах отстучать свое.

— Заладил: на ногах, на ногах, — недовольно произносит Варакин, искоса поглядывая на Знобишина. — А что мне остается делать, если вот уже полгода, можно сказать, без ног живу. От пенсии отказаться, что ли? Нет, брат, шалишь, положенное — отдай. С колхозной-то пенсией, хотя и невеликой, отсрочки у бога можно попросить.

— Просила собака у бога жареных костей, а с неба посыпался дождь, — усмехается Знобишин, не замечая неудовольствия соседа. — У бога что-либо просить, все равно, что от луны прикуривать.

Знобишину не нравятся вечные разговоры Варакина о пенсии. Ну, ослаб человек ногами, не работает, получает положенное — и помалкивай. Знобишин же, хотя и постарше соседа на целых три года,

работает конюхом и залезать на печь, как он выражается, пока не соберется. Чуть он заведет разговор хотя бы о том, что в колхозе появилась прорва разных машин, лошади дичают без дела, как Варакин перебивает его: «А в правлении о повышении пенсий ничего не толковали?» Знобишин в таких случаях сердился и «поддевал» соседа: «А ты у бога надбавки попроси». Их разговоры хотя и не заканчивались ссорами, но, расходясь, они оставались недовольны друг другом.

— Попусту болтать, все равно, что глину жевать, — говорила Лукерья Васильевна, жена Знобишина, зовя мужа домой. — У Митрича одна забота — в окно смотреть, а тебе надо завтра ранехонько идти лошадой обрывать.

Знобишин встает, произносит неизменное «пока» и тяжелой походкой направляется к выходу.

— Ох-хо-хо, — натужно вздыхает ему вслед Варакин. — Немошь моя, немощь... Одна отрада, что на старости лет колхоз тебя не забывает.

## 2

Николай Петрович Знобишин хорошо помнит, когда обезножил его сосед Афиноген Варакин. Это произошло полгода назад, когда всей бригадой вышли расчищать заросшие луга и пашни. Работа была нелегкая. Уж очень за последние годы сжал Ельники со всех сторон дремучий вологодский лес. Наступал он на два десятка рубленных изб хотя и медленно, но верно. По названию деревни можно судить, каких деревьев в этом лесу больше. А ель, известно, дерево цепкое, неприхотливое и страшно плодовитое.



Иногда в конце лета можно наблюдать такую картину. От опушки леса, дальше и дальше в поле, словно цыплята от курицы, разбегаются маленькие елочки. Они еще очень слабы и прозрачно зелены. Вот в это-то время их бы и надо жикнуть косой под самый корешок. Но такова уж порой бывает натура у человека, что он только махнет рукой: успеется. Пройдет год, елочки подрастут, косой их уже не взять: что поделаешь? Еще год и еще... Через десять-пятнадцать лет на месте некогда плодородного куска пашни, смотришь, шумит молодой лесок.

Так и случилось в Ельниках.

На подмогу ельниковцам прислали из «Сельхозтехники» бульдозер и кусторез. Машины выворачивали из земли уже хорошо укоренившиеся деревца, а колхозники стаскивали их в кучи, чтобы потом, когда подсохнут, сжечь. Николай Петрович работал вместе со всеми.

Вот тогда-то его и дернула за рукав Нюшка Строгова, молодая бригадирша ельниковской бригады.

— С дядей Афиногеном что-то неладно, — испуганно произнесла она.

— Где?

— У Лисьего ручья.

— А ну, пойдём.

Варакин сидел на сброшенном ватнике, поникнув лохматой головой, у срубленной елочки, толщиной в руку. Рядом валялся топор.

— Что с тобой, Митрич? — взглянул, наклонившись, Знобишин в чуть раскосые глаза соседа.

— Ноги, ноги... не встать, — не поднимая глаз, шевельнул прокуренными усами Варакин.

И с тех пор засел он безвыходно в своей хате. Благо, было кому за ним ходить: его старуха хотя и глуховата, но довольно резва. Всю жизнь она плела кружева и не могла надорваться на работе. Варакина в колхозе пожалели, обеспечили на зиму дровами, а вскоре назначили ему пенсию.

— Афиногешка прежде чем упасть, завсегда соломки подбросит, — намекал на что-то второй сосед Николая Петровича, семидесятипятилетний ночной сторож, прозванный односельчанами Ульем.

— Это что ты имеешь в виду? — строго спрашивал его Николай Петрович. — Если что знаешь, то говори.

— Говорун из меня плевый. Сами увидите, — отрезал Улей.

Знобишин качал головой: непонятный старик.

### 3

Жизнь немало мытарил Николай Петровича Знобишина. Вшивел в окопах в первую империалистическую, лежал в тифу в гражданскую, падал от кулацкой пули в коллективизацию. А сколько земли перепахал в колхозе, один только он знал, да могли рассказать трудовые книжки, если б сохранились. Опять-таки и дорога Отечественной войны не прошла мимо. Погибли на Днестре два сына, а сам, подрывая фашистские мины, был тяжело ранен на Сандомирском плацдарме. Однако выжил, чем опроверг известную солдатскую поговорку, что сапер ошибается в жизни только один раз.

Вернувшись с войны, не узнал Знобишин родные Ельники. Порядки изб по обеим сторонам поредел; многие жители уехали в город. Там, где стояли

их избы, буйно разрослись крапива, репей и терпкий багульник. С крыш сараев солома снята: ее скормили зимой скоту. Людей — как в пустыне Средней Азии, где пришлось бывать Николаю Петровичу в гражданскую. Да и то одни старики и старухи. Даже малых детей не видно. Безрадостно, неуютно было на душе.

Первым, кого повстречал в Ельниках Знобишин, был Улей, сосед. Неуклюжий, взъерошенный, крякая, он рубил во дворе хворост. Увидев Знобишина, прогудел:

— У-у, вернулся, герой...

И надолго замолчал.

— Пармен Федорович, расскажи, Христа ради, что у нас тут и как? — взмолился Знобишин, горя нетерпением узнать колхозные подробности.

— Небось, баба все выложила, — прогудел Улей в ответ.

— Что баба?.. Баба она и есть баба.

— Ну, положим, твоя баба — не совсем баба... — И вдруг неожиданно: — Иди, Афиногешке доложишься... Он у нас вроде за командира.

— А он здесь? — удивился Николай Петрович.

— Тьфу, где ему, псу, быть, — ответил Улей и с размаху всадил топор в чурбан.

Видать, не любил старик Афиногена Варакина. Да, кстати, и самого Уля в Ельниках не очень-то привечали. Ребятишки его даже боялись. Крепок, загадочен и дремуч был Улей.

Среднего роста, ладный, в военной гимнастерке без ремня, с топорщившимися усами, Афиноген Варакин встретил Николая Знобишина как когда-то в юности:

— Колюха, туды твою в лапу, ты?

Друзья обнялись.

На столе появилась пол-литра, свежие огурцы, лук...

— А вот с хлебом у нас — тю-тю, — пожал плечами Варакин. — Сам видел.

— Э, не привыкать, — успокоил его Знобишин. — Хлеба земля народит, были б руки у нас. А ты давно ли здесь?

— Я... я, собственно, там не был, — глядя на орден и медаль на груди Знобишина, смутился Варакин. — В сорок третьем призвали, приписали покедова, значит, к местному госпиталю ездочым. А в сорок четвертом приняли во внимание грыжу, еще что-то там такое и отпустили. И вот с тех пор в Ельниках с бабами воюю. В бригадирах хожу.

Минуту длилось неловкое молчание.

— Ну, не всем там быть, — наконец примириительно произнес Николай Петрович. — Надо и тут кому-то с бабами воевать. Теперь будет легче, наш брат, кто уцелел, возвращается.

— Оно, конечно, — поддакнул неизвестно почему присмиривший Афиноген Дмитриевич. — Надорвался тут за войну народ. Взять хотя бы твою Лукерью. Три года плуга из рук не выпускает. За двоих мужиков ворочает.

То ли хмель, то ли похвальные слова о его Лукерье или встреча со старым другом, сознание, что вот снова находишься в родных Ельниках, а может быть и все это вместе взятое навеяли на Знобишина хорошие, теплые чувства.

— Финька, друг, — с чувством говорил он, — самое страшное позади. Ты знаешь, какую мы тут жизнь теперь будет разворачивать, а? Это не беда, что все кругом прохудилось. Но ничего, ничего...

Знобишин задумчиво смотрел в раскрытое окно и поэтому не мог заметить кривой усмешечки, скользнувшей по губам собеседника.

Придя домой, Николай Петрович с минуту стоял посреди избы, словно вспоминая что-то, и вдруг спросил:

— И почему бы это в избе у нас так сумеречно?

— Рябина, окаянная, под окнами весь свет заполонила, — ответила Лукерья, ласково глядя мужу в глаза.

#### 4

Рябина, действительно, так буйно разрослась под окнами, что скрадывала всю переднюю часть избы, образовав сплошную зеленую стену. Сейчас эта стена во многих местах пламенела гроздьями ягод.

Знобишин поплевал на ладони, встряхнул в руках топор и, размахнувшись, наотмашь свалил крайнюю от угла молодую рябинку. Рябинка, вздрогнув, отлетела в сторону, но не упала, а, воткнувшись в землю, встала, как живая, беспечно шелестя листьями, словно бы и не была уже обречена. Знобишин, посмотрев на нее, усмехнулся и еще яростнее заработал топором.

Скоро от буйных зарослей осталась жить только одна, стоявшая напротив среднего окна старая, еще довоенная рябина с полуистлевшим обрывком мочала на нижнем сучке.

— Смахнул бы уж и ее, — посоветовал подошедший Афиноген Варакин, кивнув на оставленную рябину. — Было бы наподчистую.

— Нет, пусть эта останется, — произнес задумчиво Знобишин.

А Улей, вечно про себя кляня кого-то, подойдя, прогудел, жалеючи:

— Вожжу под хвост подпустил, герой. Жил бы за рябиной, как за занавеской: ни к тебе никто в окно не заглянет, ни ты ничего не видишь. Спокойствие.

Лукерья же, возвратившись вечером с работы, всплеснула руками:

— Господи, как светло в избе-то стало.

Увидев, что муж зачем-то отцепляет от гимнастерки орден и медаль, подошла к нему и, положив на его плечи свои натруженные руки, спросила:

— Зачем?

— Так надо, мать. Чтоб не мешали работать.

На следующий день Знобишин уже был в правлении колхоза. Председатель Федор Губарев, инвалид войны, которого Николай Петрович помнил еще малышом-несмышленьшем, убежденно и горячо говорил:

— И не отказывайся, дядя Коля. Принимай дела у Афиногена. Для командной должности он явно неподходящ.

Афиноген Варакин передал «дела» — тринадцать трудовых книжек и сажень — как будто даже с радостью.

— Давай, команду, — только и сказал он Знобишину.

И тут же предложил «обмыть» сажень, это немудрящее сооружение из реек в виде буквы «А». Знобишин «обмывать» сажень отказался, но к руководству Ельниковской бригадой приступил. И, надо сказать, десять лет неплохо работал. Колхоз в это время укрупнился, разбогател, выросли в нем новые люди. Преобразились и Ельники. Вновь по

вечерам стали вспыхивать на улице песни девчат и парней. Подросла смена и Николаю Петровичу. От пенсии он отказался, сказав, что может еще поработать конюхом.

И каждый день, возвращаясь с конюшни, он проходит мимо окон соседа и неизменно спрашивает: «Все еще недужится, Митрич?»

Страстное желание поговорить с кем-то знакомым, вспомнить былое — стало потребностью на старости лет.

## 5

Недавно, по осени, когда хватили первые легкие морозцы, но снег еще не выпал, лисицей подобралась хворь и к Знобишину. Сначала ощутилось легкое покалывание в пояснице, потом оно дало знать в левом боку и ногах. Николай Петрович был уверен, что человек, много мерявший пешком землю-матушку, обязательно должен на старости ослабнуть ногами. «Кто мало ходил, тот и ноги имеет сыромятные, — любил повторять он. — Ну, а слабым ногам слабнуть, стало быть, уж нечего».

Вместе с недугом незаметно подобралась и тоска-бессонница. Днем деревенские все чаще стали видеть Знобишина в среднем окне, под пылающей костром, еще не склеванной вороватыми воробьями, рябиной. Даже обедал он иногда на подоконнике, боясь просмотреть на деревенской улице что-то значительное.

Почти каждый день Николай Петрович видел проезжающую скрипучую телегу пятнадцатилетнего возчика Леньки, дремучего, взъерошенного Улья, бригадира Нюшку Строгову. И, конечно, Варакина, который за полгода «сидячей и ползающей жизни»

ни разу не бывал далее крыльца. Выползет он с топором на улицу, дверь дсма оставит открытой и так ловко начнет колоть дрова, что только диву даешься. Правой рукой помахивает топором, а левой метко швыряет поленья в открытую дверь. Взмахнет и швырнет, швырнет и взмахнет... Снайпер! Николай Петрович дивовался неунывающему согелу. Уж очень легко переносит тот отрешение от колхозных забот. Улей же, видя трюки Варакина с дровами, гудел:

— Ха, артист-то наш, а?

Как-то Знобишину всю ночь не спалось. Перед утром он встал, оделся, покурил у окна и на рассвете вышел на крыльцо. Скованную морозом землю уже несколько дней припорошивало первой декабрьской крупой. Тихо стыла деревня. Лишь из-за околицы, со скотного двора, доносилось ленивое дзеньканье цепных привязок коров.

Вдруг до слуха Знобишина донеслось легкое поскрипывание снега. Со стороны колхозных сараев ко двору Варакина крадучись шел человек. Николай Петрович выдвинулся к углу, притаился, протрупуывая глазами уже чуть тронутую рассветом ночь. Незнакомец нес на плече огромный пестерь сена. Вот он подошел к хлеву, ворота осторожно скрипнули, в хлеву тяжело вздохнула корова, и опять над Ельниками вопарилась стылая тишина.

Дрожь тронула напрягшееся тело Знобишина: «Варакин!? Сучий сын... Паразитом решил жить... Едутся, что пенсии лишат. Еще и сенцо для своей коровки приворовывает... Расчет верен: кто на неходячего подумает...» И Николаю Петровичу вспомнился надоевший вопрос Варакина: «А в правлении о повышении пенсий ничего не толковали?» «У бога



пусть просит надбавки, подлец. И Улей — хорош мудрец, знает, но помалкивает. Соседушки!».

Горькая обида, как острый нож, вонзилась в доверчивое, обманутое сердце Знобишина.

## 6

— Ох, и задал ты мне задачу, Николай Петрович, — признался председатель Федор Губарев, выслушав сообщение Знобишина. — Положим, ты прав: Варакин симулянт, но как это доказать?

— Но мне-то ты, Федор, веришь?

— Верю, но этого мало. Поверят ли колхозники? Скажут, поблазило на старости Знобишину. Чего доброго, в клеветники запишут. Варакин, знаешь, и причину выищет.

— На это он мастак.

— То-то.

— А если докторам доложить: мол, так-то и так-то, перепроверьте.

— Наивный ты человек, — проговорил Федор Губарев. — Не всякий и доктор так легко распишется за свои промахи, если даже и поверит нам. Нет уж, сами будем своих негодлев выводить на чистую воду.

— Хорошо, Федор. Не я буду, если не допеку Афиногешку, — ответил Знобишин. — Уж очень больно он меня ранил, подлец. В самую серединку нож всадил. И как я раньше его не раскусил... Дружком прикидывается. А Улей-то, Улей, ох, нейтрал...

Вернувшись домой, Николай Петрович залез на печь. Хотя его знобило, но на душе стало как-то полегче. Это от того, что поделился своим открыти-

ем с председателем. Лежал он и думал, как повести наступление на своих соседей. Жизнь прожил бок о бок с Варакиным, а не предполагал, что он может решиться на такое.

Невеселые мысли Николая Петровича прервала бригадир Нюшка Строгова.

— Есть кто живой? — услышал Николай Петрович ее голос.

— Есть, есть, Нюша, — ответил Знобишин, слезая с печи. — Зябко что-то, по пояснице вроде бы мураши бегают туда-сюда.

— А я, дядя Коля, думала, ты выручишь...

— В чем?

— Да силоску некому открыть. Силос скармливать разрешили. Доярки уж так обрадовались... Выходит, зря я тебя побеспокоила.

— Ладно, ладно, егоза, ведь знаешь, что пойду, раз с печи слез.

— Я так и знала, — улыбнулась Нюшка.

Земля, которой была закидана силосная траншея, смерзлась до крепости камня. Лом, ударившись, отскакивал от нее. Немало пришлось попотеть Знобишину, прежде чем он добрался до силоса. Но, сделав дело, Николай Петрович успокоился. И что удивительно, его перестало знобить. На время он забыл даже о Варакине и сегодняшнем разговоре с председателем Федором Губаревым. Но Варакин сам напомнил о себе. Когда Николай Петрович шел мимо его дома с лопатой и ломом на плече, в окно раздался стук.

— Заходи покурить, — донесся до него голос соседа. — Старых друзей негоже обегать.

Словно неведомая сила на миг пригвоздила к тропинке Знобишина. С минуту он стоял молча,

потом решительно шагнул к крыльцу варакинского дома, снял с плеча лопату, лом и не спеша вошел в дом.

— Проходи, проходи, сосед, — пригласил Варакин.

Николай Петрович так же молча прошел в передний угол, свернул козью ножку, хлопнул рукой по карману телогрейки:

— А вот спички забыл.

— Возьми там, на шестке, — кивнул Варакин.

— Принеси сам. Как это я буду в чужой кухне шастать.

— Ты чего это смеешься надо мной, — встрепнулся хозяин дома. — Ох-хо-хо, немощь моя...

— Нет, это ты, сукин кот, надо мной... над всеми нами насмехаешься! — хлопнул рукавицами по столу Знобишин. — Нечего притворяться!

— Как это понимать?! — Варакин даже прыснул с лавочки, но, опомнившись, быстро опустился на нее.

— Ага, видишь, выдал-таки себя, — овладев собой, тихо, но твердо произнес Николай Петрович. — По правде сказать, еще на днях заприметил тебя с сенцом колхозным.

— А дальше? — уже тоже спокойно спросил Варакин.

— Судить тебя надо, Афиноген, вот что дальше.

— Это за что же?

— За обман, за воровство.

— Не пойман — не вор. А обман — докажи. Я же свое докажу, вот они, справки-то докторов.

— И не стыдно тебе?

— Чего ты костопыжишься, Петрович? Чего тебе надо? Хватит, поломили мы с тобой в колхозе.

— Ты меня не тронь. Я вот только что сейчас ломил, а ты... Эх, сосед, сосед...

— Ладно, не кипятись. Давай посидим рядком да поговорим ладком. У меня и бутылочка, кстати, давненько простаивает. Можно все по-хорошему уладить, без шумихи...

— Меня ты не купишь, — отрезал Николай Петрович, сгребая со стола рукавицы. — От своей совести, если она еще в тебе есть, не откупишься выпивкой. Посмотри на старух, что на ферме работают... Горяча скоро покажется лавочка, на которой сидишь. Ожжет она тебя...

— Постой, постой, Петрович! Куда ты?

Но Знобишин был уже в сенях.

— Не торжествуй, сосед, не докажешь. Да и кто тебе поверит, — злобно кричал Варакин. — Никто! А за клевету, знаешь сам...

Николай Петрович остановился у крыльца, взял лом и лопату, потом тихо сказал:

— А я уже доказал. Казнись теперь моей ненавистью. И не будет твоей совести отныне покоя... от меня, ото всех нас...



У

РОДНИКА

А

ГНЮШКА теребила лен на крайнем загоне поля. Стояла невыносимая жара. Земля так затвердела, что, казалось, корни пожелтевших растений были впаяны в камень. Когда она брала в горсть стебли льна, головки его невнятно нашептывали какую-то песенку без слов. От этого у Агньюшки еще сильнее ныла натруженная спина, саднило намозоленные руки, а голо

ва наливалась свинцовой тяжестью. Хотелось пить. Агнюшка вспомнила, что на конце поля бьет из-под земли маленький родник. Наскоро перевязав сноп, она устало побрела к нему.

Вода, от которой было больно зубам, утолила жажду, но усталость не прошла. Агнюшка посмотрела на поле, потом поднесла к глазам исцарапанные руки, тяжело вздохнула и села рядом с родником.

Это был удивительный родник. Около небольшого камня-валуна выбивалась из-под земли небольшими клубочками хрустальная вода. По краям маленького углубления в земле росли незабудки. Они были почему-то всегда влажными и холодными, хотя вода из родника никогда не выплескивалась на них: уровень ее в углублении был всегда одинаков. Хрустальные клубочки, выбившись из-под земли, вновь уходили в нее, чтобы потом, вероятно, опять наполнить родник.

Агнюшка долго смотрела в прозрачную воду. А из родничка на нее тоже смотрела какая-то незнакомая девочка, кареглазая, с соломенными волосами и облупившимся носом. «Неужели это я? — удивилась Агнюшка. — Вот бы на меня сейчас посмотрели в городе, не узнали бы никак».

И Агнюшке вспомнилось, как месяц назад она уезжала в деревню погостить, к дяде Васе и тете Марише. Школьные подруги, провожая ее, завидовали: в деревне цветы, лес, грибы и ягоды — вот отдохнешь-то. Будет что потом рассказать в классе.

А что расскажешь? Агнюшка невесело усмехнулась. Она вновь посмотрела на поле, на котором школьники без усталости теребили лен, и у нее опять заняла поясница. «Эх, зря я вызвалась вместе

с ними помогать колхозу, — вздохнула Агнюшка. — Не по мне эта работа. Какая же из меня колхозница... Чтобы вывозить навоз, косить сено, обмолачивать хлеб или теребить лен, нужна сила да и большая, как, например, у Генки Малахова и Нюрки Уваловой», — думала она, полузакрыв глаза.

Агнюшка, действительно, не отличалась крепким здоровьем. Руки у нее были к труду непривычные. Да и откуда привыкнуть, если мама даже ведро с водой не разрешала поднимать. Заботливо собирая Агнюшку в деревню, она говорила:

— Ты у меня хиленькая, а там окрепнешь на свежем воздухе и на парном молоке.

«Окрепнешь, если сейчас рук не могу поднять», — невесело подумала Агнюшка. И ей опять вспомнился город, кинотеатр «Родина», а на углу, недалеко от ее дома, киоск «Мороженое»...

Агнюшка решила тайком уйти с поля. А чтобы потом над ней не смеялись, уехать в тот же вечер в город. «Дядя Вася подвезет до станции. Попрошу его, он добрый».

Когда Агнюшка пришла в деревню, дядя Вася сколачивал во дворе своего дома из тонких обструганных колышков сажень, похожую на большую букву «А». Он был бригадиром и такой буквой обмеривал колхозные поля. Увидев Агнюшку, он, казалось, нисколько не удивился, а только попросил:

— А ну, Агнюш, принеси мне водицы испить.

Агнюшка бросилась на кухню, но воды там в ведре не оказалось. Она сообщила об этом дяде Васе.

— Зачерпни из колодца, — просто сказал он.

«Зачерпнуть из колодца? Так ведь мне ведра из него не вытащить», — в страхе подумала она, но

призналась дяде Васе. «Будь, что будет. Утоплю ведро, скорей отпустит в город... Нет, топить ведро не надо. Лучше зачерпну самую малость».

Она осторожно опустила ведро в колодец, дернула вбок веревку, как это делала тетя Мариша, и стала медленно вытаскивать его обратно. «Хватит ли напиться», — думала Агнюшка, так как груз ей показался что-то уж слишком легким. Но каково было ее удивление, когда она поставила к своим ногам полное-преполное ведро студеной воды.

А вокруг все оставалось прежним. Стояла жара. В огороде на грядках густо лежали, словно булыжники на мостовой, гладкие тыквы. Рядом с забором вытягивал свою бугристую шею к солнцу лохматый подсолнух. Дядя Вася испытывал прочность новенькой сажени.

— Ого! — удивился он, когда Агнюшка поставила рядом с ним полное ведро воды. — Как ты поздоровела, Агнюш. А ведь когда к нам приехала, кувшина не могла поднять. Вот что значит работа да деревенский воздух. Не стыдно будет мне тебя и матери сдать. Который уже день на поле ходишь?

— Пятый, — тихо ответила Агнюшка.

— Только-то? А силы в тебе, Агнюш, в десять раз прибавилось. Работа, она крепость дает. Видела, какие у нас ребяташки да девчонки в деревне? Генка Малахов, Нюрка Увалова... Богатыри растут. И все потому, что работы не боятся. Вот и ты будешь скоро сильной.

Непонятные чувства овладели Агнюшкой. В самом деле, почему она не может быть такой, как Генка Малахов или Нюрка Увалова? Ведь они же ровесники ей, тоже в этом году шестой класс окончили. И пусть не думают, что она, Агнюшка, слабо-



сильная и слабовольная. Вот возьму и назло не уеду из деревни и буду теревить лен. Пускай болят руки, пускай печет солнце. Пусть, пусть... А ведь струсил, струсил... Сбежала тайком с поля, испугалась, бросила товарищей... Значит, не такая, как все... Стыд-то какой. Нет, нет...

— Да, Агнюш, а ты почему с поля пришла? — прервал ее мысли дядя Вася.

— Я, я... за водой. Ужас как всем пить хочется, — соврала Агнюшка и страшно покраснела.

— Так вы ведь на Дорофейке работаете, — сказал дядя Вася. — Там в конце поля есть расчудесный родничок. Он всех вас напоит. Я из него каждый год лакоплюсь. Выходит, незачем тебе отсюда воду тащить.

— Да? А я и не знала, — притворно удивилась Агнюшка и отвернулась. — Тогда я пошла.

Дядя Вася взглядом проводил ее, усмехнулся и кому-то хитровато подмигнул.

Ребята, кажется, не заметили отлучки Агнюшки. Она незаметно пробралась в свой загон, доставшийся ей при распределении. И опять под невыносимой жарой невнятно зашептали головки льна. Но теперь уж Агнюшке этот шепот не казался скучным и однообразным. Она раздавила несколько хрустящих круглых коробочек, и на ладонь ей брызнули коричневые семечки. «Так это они в головках льна шевелятся, когда их тронешь», — догадалась она о причине странного шепота.

Скоро у Агнюшки опять заболела спина. Но она теперь уж не думала уходить с поля, только несколько раз бегала к роднику напиться и бросить две или три пригоршни обжигающей воды на лицо. От этого становилось ей легче.

Под вечер к ней подошли ребята. Каждый из них выполнил свою норму — делили раньше поровну, каждому досталось по заgonу. Увидев, что Агнюшка сделала только половину, Генка Малаховскомандовал:

— А ну-ка, поможем Агнюшке! Она еще не привыкла к этой работе.

Всей оравой навалились и на Агнюшкин загон, и скоро от него ничего не осталось.

— А теперь айда к роднику, — сказал Генка.

Страшно вкусной показалась сейчас вода Агнюшке. Пили ее пригоршнями. А между тем наступал вечер, садилось солнце. Кто-то из ребят предложил залезть на старый ветряк и посмотреть, как на землю падают первые августовские росы.

Об этих росах Агнюшка много наслышалась, живя в деревне. Говорили о них и дядя Вася, и тетя Мариша, и даже Генка. Ей вспомнились слова дяди Баси: «Надо успеть вытеребить, обмолотить, успеть и разостлать лен под августовские росы». Стоя наверху мельницы, она озабоченно спросила у Генки:

— А что, успеем ли разостлать лен под августовские росы?

— Успеем, — уверенно ответил Малахов.

Вдали, меж перелесками, на низкие поля медленно падал туман. Он с каждой минутой все сгущался и сгущался. Скоро уж не стало видно полей, а на их месте словно бы разливались озера с беловатой водой. Агнюшка, как замороженная, смотрела на эти озера и думала о том, как она приедет в город, придет в школу и будет, не краснея, рассказывать о деревне, о шепчущем льне, о боли в пояснице, об августовских росах и чудесном роднике.



## БЕЛАЯ ПЫЛЬ

П

О ДЕРЕВЕНСКОЙ улице идут трое. Один из них — парень лет восемнадцати, нарочито устало волочит кирзовые сапоги по пыльной дороге и исподлобья посматривает на своих нежелательных спутников.

Инспектор рыбнадзора Орлов и участковый Криулин задержали Митьку Степанова как раз в тот момент, когда он с крутого берега Иволги ахнул в

омут полукилограммовый заряд тола. Взрыв слился с командой: «Стой! Руки вверх!», и Митька, таким образом, попался, как кур в ощи́п.

Митьку считали в Дорожайке отпетым, но и ему было стыдно идти на глазах почти у всей деревни рядом с участковым Кriuлиным. На середине деревни он тряхнул головой, навесил овсяный чуб на глаза и сделал вид, что, кроме собственных сапог, его ничто не интересует. А сапоги у Митьки были почему-то белые, словно мелом натерты.

«Небось, кое-кто радуется, видя меня стреноженным, — неприязненно думал он, изредка скользя глазами по окнам домов. — Пускай, все равно мне здесь уж не жить. Второй раз забирают».

Первый раз Митьку арестовали три года назад. Было ему около семнадцати лет. Пас он тогда колхозных лошадей, а в свободное время любил выпивать и выстругивать разные украшения для дома. Однажды под вечер его за этим занятием застал какой-то незнакомый человек.

— Любопытно, — сказал он, взяв из рук Митьки коловорот. — Любопытно. Продашь эту штуку, что ли?

— Не, — мотнул головой Митька, недоумевая, зачем понадобился прохожему коловорот. — Это после отца остался.

— А где он у тебя?

— Погиб. В войну.

— Значит, с маткой живешь?

Митька кивнул головой.

— Тогда вот что, я беру этот инструмент до утра, а тебе оставляю четвертной в залог. Договорились.

— Дядя, а зачем он вам? — спросил Митька.

— В макаронах дырки просверливать, — загадочно ответил тот, пряча коловорот в мешок.

На другой день утром за Митькой пришли.

— Что? Лошади? — спросил он, вскакивая с постели.

— Ничего, пешком прогуляешься до района, — ехидно усмехнулся участковый Кriuлин. — Твой?

— Коловорот?! Мой, — подтвердил Митька, недоумеая, как этот инструмент попал к Кriuлину.

— Тогда все ясно. Одевайся.

— Куда? За что?

— Там выясним.

В милиции Митьке долго объясняли, что он с неизвестным сообщником ночью в Дорожайке украл из колхозного амбара около двух центнеров сортовой пшеницы. Кража совершена оригинальным способом. С двух сторон амбара, между бревнами, напротив сусеков, были просверлены две дырки, через которые самотеком и лилось зерно в подставленные мешки. Воры у амбара оставили вещественное доказательство — коловорот, принадлежащий Дмитрию Степанову.

Таким образом, с точки зрения следователя, история кражи ясна, как день.

Митька оправдывался, но неумело, дерзил следователю, рассказывал, как было дело, но на все слышал один ответ:

— Сказочки, гражданин Степанов.

Вернулся домой Митька через два года. В том, что он не преступник, были уверены только мать да сосед дядя Сидор, приятель Митькиного отца.

— Ничего, Митрий, все образуется, все в ясность придет, — говорил ему дядя Сидор на второй день. — Злобы к людям не надо иметь.

И, узнав, что Митька хочет остаться в колхозе, одобрил:

— Валяй. Чай, землю кормимся.

Но встреча с председателем Евлампием Хватовым разрушила надежды Митьки... Был этот Хватов очень недоверчив.

— А, это ты... Слышал, — встретил он Митьку. — Сбежал, что ли? Работы? Ну, знаешь, у меня же кругом материальные ценности. Шалишь, брат...

— Перестраховщик, — ругнулся, не выдержав, Митька.

— Что?! Может подать на тебя?

— Подавай. За правду не судят.

Вскоре после этого Хватова с председателями сняли. Митька узнал эту новость уже в райцентре, где устроился рабочим горкомхоза. Там он и запасся взрывчаткой.

На новом месте Митька не ужился. И не потому, что платили мало, а просто в деревню потянуло.

А через неделю он угодил прямехонько в руки рыбинспектора Орлова и участкового Криюлина. Правда, до этого он успел-таки разочек опустить в Иволгу свой смертоносный груз. Рыбу не продавал. Принес матери, сказав:

— Были тут какие-то рыбаки... Помог им невод тащить.

«Теперь — все. Упекут, — продолжал думать он, не обращая внимания на требование Криюлина пошевеливаться. — Попросить или нет, чтобы задворками провели, а не перед окнами своего дома. Увидит старая, разревется... Пусть уж потом узнает».

Но просить провести задворками Митьке не пришлось. Внезапно участковый Криюлин его оставил, дернув сзади за выгоревшую ковбойку.

Митька поднял глаза. Перед ним стоял высокий мужчина лет сорока пяти, с серьезными светлыми глазами, смотревшими из-под пушистых бровей, похожих на созревшие колоски ржи.

— Иван Парменович,— поздоровался за руку с высоким рыбинспектор Орлов.

Участковый Криулин дотронулся до козырька фуражки.

— Кто? За что? — задавал вопросы Иван Парменович, изучая с головы до ног Митьку.

Участковый Криулин объяснил, как и за каким занятием захватили злостного браконьера, показал бикфордов шнур. Из его рассказа можно было заключить, что взять преступника было очень и очень трудно. Хорошо, дескать, не дали возможности кидаться взрывчаткой, а то бы...

Орлов только поморщился, как от зубной боли.

«Теперь будут каждому расписывать, как да что, — втайне сердился Митька, неприязненно поглядывая на Ивана Парменовича. — Встречаются тут всякие».

— Так, так, — произнес Иван Парменович и, нагнувшись, провел по Митькиным сапогам рукой. — Известь, убей меня громом, известь. На нашей земле сапоги выбелил?

— Где же еще, — буркнул Митька.

— Это очень интересно. Покажешь, где?

— Приведем, там покажут ему, как...

Иван Парменович строго взглянул из-под бровей-колосков на участкового и сказал:

— Бикфордов шнур — бикфордовым шнуром, а человек есть человек. Что ему будет?

— Штраф, а то и годок отрубят, — опять пообещал участковый Криулин.

— Знаете что, отпустите его со мной до завтра. Мы тут кое-что выяснить должны. А завтра он в милицию сам придет.

— Шуточки шутите, товарищ Полюнин, — вскинулся Криюлин. — У него же паспорт при себе.

— Не сбежит, — твердо заявил Иван Парменович и в упор взглянул в Митькины глаза.

Митьке определенно начал нравиться этот человек.

— Пусть остается, — неожиданно решил Орлов.

Он был умный человек и очень уважал агронома колхоза «Северное сияние» коммуниста Ивана Парменовича Полюнина.

— Твои ангелы-хранители ушли. Теперь их должность займу я, — сказал Митьке Иван Парменович. — Ну, ну, не хмурь брови. Шучу. Пойдем ко мне, пообедаем, а потом проведешь меня по всем тем местам, где ты сегодня путешествовал.

Митька не стал возражать и покорно направился за Полюниным. По дороге спросил:

— Зачем вам, Иван Парменович, эти места?

— Вопрос законный. Видишь ли, Дмитрий, я и раньше догадывался, что где-то недалеко от нас имеется известь. Она нам очень нужна. Известковать почвы. Кислоты в них много, оттого и урожай низкие снимаем. А эту кислотность можно нейтрализовать известью. Многие считают, что ее на территории нашего колхоза нет, а привозить издалека дорого. Если ты свои сапоги не выпачкал в извести еще в горкомхозе, то мои догадки подтвердятся.

— Откуда же вы знаете, что я недавно из города? — поразился Митька.

— Надо, Дмитрий, знать, кто с тобой рядом живет.



- Значит, обо мне знаете?
- Не все, но кое-что знаю.
- А вы сами давно здесь... у нас?
- Уже полгода.
- А я и не знал.

Они остановились у крыльца покосившегося дома. «Раньше в нем жили Кривцовы, что в город три года назад уехали», — подумал Митька.

— Ну, заходи, — пригласил Иван Парменович.

Митька прошел в переднюю. Его поразило убранство дома. Стен почти не видно: всюду стояли снопы ржи, пшеницы, кукурузы, ячменя, клевера и еще каких-то трав. Пахло полем и лесом одновременно.

— Настя! — позвал Иван Парменович и снял пиджак. Только сейчас Митька заметил, что у Понынина нет левой руки.

Из-за дощатой перегородки вышла девушка лет семнадцати, в ситцевом платье, курносенькая и с тяжелой косой, уложенной крупными кольцами на затылке.

— Моя хозяйка, — представил Иван Парменович.

— Жена? — спросил Митька и сразу же понял, что сморозил величайшую глупость.

Настя упала на стол и стала «умирать от смеха».

— Бывает, брат Дмитрий, — не переставая улыбаться, говорил Понынин. — Дочка, на агронома учится. Каникулы сейчас.

Теперь уже смеялись все трое. Обед прошел шумно и весело. Митька сидел и думал, как непохожи эти люди на тех, с кем ему приходилось встречаться в последнее время.

...Речка Иволга, неширокая, но быстрая, брала начало где-то в Лисьих холмах. Вытекала она и

родника с тихим журчанием, вилась между холмов, то пологих, то крутых, постепенно набирала силу и по мере приближения к многоводной Марше все чаще шумела на перекатах. Было на Иволге много плесов и омутов, над которыми в жару вилось множество хлопотуний-стрекоз.

— А ведь стрекозу зря называют попрыгуньей и бездельницей. Это от басни пошло. Думаешь, зря она над водой толчется? Такова ее работа. Очень большое это дело — знать свое назначение. Вот такие дела, брат Дмитрий.

Митька идет берегом реки рядом с Иваном Парменовичем, внимательно слушает и изредка сам задает вопросы.

— С одной рукой, небось, тяжело?

— Тяжело, когда для одной руки нет работы, а когда одной рукой делаешь за две, легко.

— И давно вы вот так ходите?

— Без руки?

— Нет, по полям.

— Как остался без руки, с тех пор и хожу. С сорок четвертого.

— И нравится?

— А тебе какая работа по душе?

— Коней люблю, — признался Митька.

— Что же мешает?

— Не от меня это зависит.

И Митька рассказал Полюнину всю свою жизнь. Ничего не утаил. Иван Парменович выслушал его, не перебивая, внимательно, потом заговорил:

— Прав дядя Сидор, что подлецов на штуки пересчитаешь, но вред от них большой. А насчет «не от меня зависит», то это ты брось. От человека почти все зависит. Надо только сильно захотеть, чтобы

добиться своего. Если человек махнет на все рукой, то и будет постепенно покрываться, хотя бы как твои сапоги, известковой пылью. Поначалу он ее не заметит, а потом эта пыль начнет разъедать кожу. Считай, тут пропали сапоги, брат Дмитрий, — закончил Полынин.

Вскоре они вышли к тому месту, где Иволга делает крутой поворот. И тут Иван Парменович увидел то, чего хотел. Часть крутого берега вместе с травой в половодье сползла в омут, обнажив белый слой извести, на котором были хорошо заметны отпечатки подошв.

— Я тут ходил, — пояснил Митька.

— Очень хорошо, что ходил, — почему-то разве-селился Иван Парменович, опускаясь на колени в белую пыль. — Так, глубина залегания, примерно... Ширина... Сколько же тут сотен тонн будет? Сейчас прикинем. Так... по всему видать, известь наносная. Значит, где-то выше ее много. Откроем, брат Дми-трий, у нас все впереди.

Глядя на довольного Полынина, за каких-то пять минут ставшего похожим на мельника, разве-селился и Митька.

— Иван Парменович, вот вы говорили об извест-ковой пыли, а сами-то...

— Нас она не разъест. Мы ее вовремя счистим, — так же весело ответил Полынин и подмигнул Митьке.

Уставшее солнце опускалось за зубчатый стане-говский бор, когда Полынин и Митька вошли в де-ревню.

— Ну, брат Дмитрий, айда теперь ко мне в ха-ту, — предложил Иван Парменович. — Пожужем что-нибудь, потолкуем.

— Не,— робко отказался Митька.

— Давай, давай,— Полынин дважды хлопнул по Митькиному плечу.— Меня, брат Дмитрий, не стесняйся.

— Хорошо,— вдруг согласился Митька.— Только вот сбегаю мать проведать.

Через час они сидели за выскобленным до желтизны столом и ели свежие огурцы с хлебом. Перед каждым из них стояла глиняная кружка с прохладным квасом.

— Люблю я их вот так, нерезаные,— говорил Полынин, обтирая ладонью пупырчатый огурец.— Хруст, словно музыка. А ты?

— Угу,— подтвердил Митька, не раскрывая рта.

— Особенно та еда хороша, которую сам вырастил или честно заработал,— продолжал агроном.

Митька при этих словах перестал жевать, в упор посмотрел в глаза Полынина.

— Ешь, ешь,— сказал Иван Парменович.— Никакого намека на тебя в моих словах нет. А вот о том, как жить дальше думаешь, потом спрошу.

— Зачем потом,— сказал Митька.— Я сейчас отвечаю.

— Ну, ну,— одобрил его Полынин.

— Посадят меня,— выдохнул Митька.

— Н-да,— задумался Иван Парменович.— Такая перспектива не улыбочлива. Может, все-таки, не посадят.

— Может. Но в милицию завтра идти надо.

— Ну, скажем, не посадят, потом куда?

— Как куда? В колхоз, домой,— удивился Митька.— Вы мне поверьте, Иван Парменович. Я, может, после отца второго такого человека, как вы, встречаю.

Полынин пристально посмотрел в глаза Митьки Степанова. В них он увидел искренность и решимость. Такие глаза лгать не могут.

— Давай, действуй, брат Дмитрий, — только и сказал он Степанову.

...Поутру из Дорожайки по дороге в райцентр шел парень в стираной ковбойке и начищенных до блеска кирзовых сапогах. Голову он держал прямо и ступал твердо. Это был Митька Степанов. В руке он держал брезентовую сумку, в которой лежали четыре куска взрывчатки. Шел, думал о чем-то своем. А в это время агроном колхоза «Северное сияние» коммунист Иван Парменович Полынин разговаривал о его судьбе с начальником милиции по телефону.

---



## СЕДЬМОЙ ВОЛК

**М**

МОРОЗНЫМ вечером стая голодных волков ворвалась на прогулочную площадку фермы и зарезала годовалую телку. Доярки находились в помещении и не видели столь дерзкого налета. Услышав рев метавшихся в загоне животных, они выбежали на улицу, но было поздно. Никон Лазарев, деревенский охотник-любитель, предупрежденный доярками, направился по следам

зверей. Когда он добрался до ближней ложбины, поросшей редким кустарником, то увидел здесь обглоданные кости, разорванную в клочья шкуру телки да алый притоптанный когтистыми лапами снег. Никон Лазарев по следам определил, что зверей было шесть штук. «Сыты, далеко не уйдут», — решил он и спокойно отправился в деревню Дорожайка.

Отяжелевшие после сытного обеда, звери залегли в четырех километрах от фермы, в небольшом еловом лесочке, раскинувшемся островком посреди заснеженного болота. Здесь волки и были вечером обложены Никоном Лазаревым и двумя другими охотниками. Обложены красными флажками замкнутым кругом, густо, надежно — не уйти.

— Утречком приедем и возьмем милашей, — сказал Никон, довольно потирая озябшие руки.

Никон Лазарев работал в колхозе кузнецом. Кряжистый, с веселыми карими глазами, несмотря на свои шестьдесят пять лет он не оставлял любимую работу. Заменить его в кузне было кому: выучил несколько колхозных парней ремеслу. Каждый раз думал так: «Введу в суть вот этого да и на покой уйду». Но парень выучивался, а Никон никак не покидал кузню. Последним учеником у него был Пашка Кулигин, ловкий, но хитроватый парень, имевший, на взгляд кузнеца, дурную привычку к месту и не к месту подмигивать левым глазом. По окончании учебы Никон сказал Пашке так:

— Знаешь, милаш, не резон тебе в этой кузне околачиваться. Вся молодежь к технике стремится, а тут... Иди, иди на механизатора... широкого профиля. Все туда подались. Выучишься, приедешь, к тому времени у нас, может, не эта развалюха будет дымить, а целый механический завод.

— Дядя Никон!..

— Так-то, милаш, — стукнул кузнец по накопальне молотком, дав понять, что упрашивать бесполезно.

Пашка спорить не стал. Невыгодно ему было спорить с отцом Ньюшки, по которой он вздыхал день и ночь. «Еще не отдаст, медведь этакий», — думал он. А на уме Никона Лазарева было: «Уж если доведется иметь такого зятка, то пусть кроме кузни кое-что другое понюхает».

И Пашка вскоре уехал на курсы механизаторов в город.

На охоту в последние годы Никон ходил редко. Разве что в случае необходимости, как например, сегодня. На облаву он пригласил комбайнера Игоря Савинова да полевода Ивана Ерикеева — молодых колхозников, тоже кое-когда «балующихся ружьишком».

— А ведь, други, нам троим, пожалуй, с серыми трудно справиться, — вдруг произнес Никон Лазарев, когда охотники подъезжали в сумерки к деревне. — Нужен загонщик. Кого возьмем?

— Кто ружье имеет, — сказал Игорь Савинов.

— Ружье в деревне есть еще у Степана Кулигина, — вспомнил Иван Ерикеев. — В случае чего, он сам может встать на номер.

Никону Лазареву не хотелось брать на облаву Степана Кулигина. Недолголюбивал он его. Почему, сам не знал. Кузнецу Кулигин казался хитрым человеком, с глубоко сидящими вороватыми глазами. Брови у Кулигина были широко расставлены, левый глаз подмигивает (вот от кого у Пашки-то!), в ушах растут волосы, а взгляд при разговоре устремлен в землю. «Да что это я взъелся на человека, —



упрекнул себя Никон. — Уж не потому ли, что, возможно, породниться придется. Глупости».

Сани, между тем, остановились у пятистенка Степана Кулигина, кузнец вышел.

— Распрягайте, а утречком, как следует, ко мне, — наказал он товарищам.

Никон зашел в избу. Договорились они со Степаном быстро. Кулигин, глядя в пол, только переспросил:

— Говоришь, шесть зверюг-то? Маловато. Ну да и то... Может чайку налить, Никон Павлович?

— Спасибо, дома попью.

«Шесть умножить на пятьдесят... триста рубликов одной премии. Плюс шкурочки... Итого... Разделить... Сколько же нас будет? А чувствует-таки кузнечиска, что родственниками не миновать быть», — думал Степан, когда за Никоном Лазаревым закрылась дверь.

Ранним утром охотники подъехали к окладу. Игорь Савинов и Иван Ерикеев на лыжах объехали зафлаженный лесок — выхода волков из него не обнаружили.

— Значит, тут, милаши, — усмехнулся кузнец.

Да, звери были в окладе. Может быть, они, слышав еще вечером неведомые шорохи, пытались гыйти из лесочка, но какая-то неведомая сила удержала их на месте. Красный цвет? Но он ночью неразличим. К тому же, волки, как и собаки, не различают всех цветов радуги. Запах флажков отпугивает зверей? Положим. Но ведь в любом окладе есть сторона, от которой ветер относит все запахи за круг. Бывалые охотники знают, что волки в зафлаженном круге «сидят» по нескольку дней, не решаясь выйти из него.

Что же их заставляет там «сидеть»?

Очевидно, новый предмет, с которым волк в лесу никогда не встречался. Этого-то нового, незнакомого зверь и боится. Волк ни за что не перейдет «страшную» линию флажков, так как он по своей природе трус. Вот флажки и держат зверя в круге в постоянном страхе перед неизвестностью.

Никон Лазарев расставил охотников на «номера», внутри круга, в тридцати-сорока метрах от той линии флажков, на которую из круга дует ветер.

— Главное, други, стоять, как мертвым, — наказал он охотникам. — Неподвижность — лучшая маскировка на любой охоте. Зверь в первую очередь замечает не человека, а его движение.

Сам кузнец встал недалеко от тех следов, которыми волки вошли в лесочек. Никон знал, что более вероятно именно по ним, как выражаются охотники, в «пяту», будут звери вырываться из круга.

Степан Кулигин, тоже получивший подробные наставления, направился со своей берданкой к предполагаемой лежке хищников. Криками и хлопаньем рукавиц он начал теснить серых разбойников в сторону стрелков. Не прошло и двадцати минут, как в том месте, где стоял кузнец, раздались два выстрела. Спустя немного где-то справа грохнул еще один, потом еще... Слева кто-то ударил дуплетом.

— Один, два, три, четыре... — Степан насчитал восемь выстрелов.

Вытерев рукавицей пот с лица, Степан прислонился спиной к заснеженной ели. Он только что хотел закурить, подсчитывая в уме, сколько же ему присчитается рублей за сегодняшнюю добычу, как что-то неведомое заставило его вздрогнуть. Степан вскинул глаза... Прямо на него, приминя рыхлый

снег, вывалив красный язык и тяжело дыша, короткими усталыми прыжками бежал матерый волк. Кулигин судорожно сорвал ружье с плеча, торопливо прицелился и трясущейся рукой нажал на спусковой крючок. Зверь, подпрыгнув, завалился в снег. Перезарядив берданку и держа на мушке серую массу, он стал медленно к ней приближаться. Волк был мертв: картечь угодила прямо в голову. Чувство какой-то озлобленной радости разлилось по всему телу Степана. С минуту он неподвижно стоял над убитым хищником, часто моргая левым глазом, потом, озираясь по сторонам, начал торопливо забрасывать труп волка снегом.

Когда Степан подошел к охотникам, его уже ждали. В стороне, на примятом снегу, лежали пять убитых волков.

— Все в сборе? — спросил Никон Лазарев. — Отлично. Игорь, беги за подводой. Мы с Иваном будем сматывать флажки, а Степан Яковлевич побудет у трофеев. Эх, жаль, один все-таки ушел... Я не мог ошибиться, что их было шесть... Ведь от фермы звери шли не след в след, а вразброд. Да, а ты, Степан Яковлевич, в кого сегодня пальнул?

— Так, поугаты, — глядя в землю, ответил Кулигин.

Прошло несколько дней. Однажды ночью, на задворках дома Степана Кулигина, хлопнул одинокий выстрел. Утром, идя в кузню, Никон Лазарев спросил Кулигина, коловшего дрова.

— Ты чего это по ночам своей берданкой балуешься? Или воры лезли?

— Понимаешь, — шагнул к кузнецу Кулигин, — спать не давал проклятуций. Воет и воет. Никак, это тот, шестой, бродил, своих, знать, искал. Приш-

лось встать середь ночи. Вышел я, крадучись, а он задрал голову к луне, воет и воет... Прицелился хорошенько и стукнул...

— Попал? — поинтересовался кузнец, веря и не веря Кулигину.

— Кровь на снегу осталась, а зверюга-то ушел, — ответил Степан, глядя в землю. — Пулей я его шархнул. Кабы картечью... Думаю вот по следу пройти, авось, недалеко ушел.

— Давай, давай, — как-то загадочно произнес Никон Лазарев и направился в кузню. Через час он увидел, как Степан Кулигин с берданкой через плечо заскользил на лыжах по направлению к лесу. Кузнец долго смотрел ему вслед и почему-то укоризненно качал головой.

Степан Кулигин переселился в Дорожайку года три назад. До этого он жил на мельнице, что стояла в восьми километрах от деревни на быстрой речке Шошеньге. Некогда мельница, нажитая бог весть какими путями, принадлежала ему. Потом пришли такие времена, что с нею надо было расставаться. Степан чуял, куда ветер дует. Поэтому сам предложил ее крестьянам, только что объединившимся в артель.

— Против новых времен я ни шагу. Околхозывайте мою меленку. А если дозволите от общества при ней состоять, буду служить верой и правдой.

Крестьяне посоветовались между собой и доверили Кулигину молотить их зерно. Почему бы и не доверить, раз человек дело знает, к тому же второму мельнику в деревне неоткуда взяться. Надо отдать справедливость, особенных злоупотреблений со стороны медьника никто не замечал. Правда, как-то обнаружили, что приусадебный участок у Кулигина

слишком велик. Мельник извинился и перенес забор на новое место. Потом люди поговаривали, что сенцо на колхозных лугах иногда покашивает, а потом продает приезжим из райцентра. Однако, поймай, когда кругом лес на десятки километров. Так и жил Кулигин на мельнице с женой да двумя детьми.

Но вот пришло время, что работы у Кулигина не стало. Колхоз перешел на денежную оплату, в Дорожайке построили пекарню, а муку для нее стали возить из районного центра. Кулигин перестал за мельницей следить, и она пришла в ветхость. Еще год после этого его семья жила на Шошеньге, почти ничего не делая для колхоза. Потом мельнику предложили переехать в Дорожайку. Скрепя сердце, но не показывая этого людям, он переехал. Ему помогли отстроиться. Так в Дорожайке появился новый добротный пятистенок. Вскоре дочь мельника уехала куда-то в город, а сам он с сыном Пашкой начал ходить на разные колхозные работы, наказав жене сидеть дома. Ничем особенным в колхозе Кулигин не отличался, разве что получил нелестный отзыв: «Этот рыбку меж пальцев не упустит».

...Из лесу Степан Кулигин вернулся с тяжелой ношей. Только успел он скинуть с плеч на крыльцо здорового волка, как около дома собралось почти полдеревни. Убить такого зверя — это все-таки событие, не частое даже для такой глухой лесной деревни, как Дорожайка.

— Нечего смотреть, проваливайте, — цыкнул Кулигин на любопытных, втаскивая убитого волка в сени.

— Обожди, Степан Яковлевич, не спеши, — вдруг шагнул к крыльцу кузнец. — Дай взглянуть.

— Что ж, за смотрины деньги не платят, — ответил Кулигин. — Завидуешь?

— Посмотрим, посмотрим...

Никон Лазарев вытащил волка на свет, внимательно его осмотрел. Потом, не говоря ни слова, сильным пинком швырнул труп зверя под ноги подошедших Игоря Савинова и Ивана Ерикеева.

— Вот он, други, тот, шестой...

— Он мой, мой, вы не смеете, — крикнул Кулигин, рванувшись с крыльца. — Меня на муху не поймаете.

— Уже давно поймался, — усмехнулся кузнец. — Белыми нитками шита твоя хитрость. Смотри, ведь не пулей, а картечью зверь-то убит, и уж никак не вчера.

— Вчера, а картечью-то сегодня добил, — не сдавался Степан.

— Игорь, сбегай за ветеринаром, — приказал кузнец.

Пока Савинов ходил за ветеринаром, люди стояли молча. Тут же находился и Пашка, приехавший на побывку. Степан часто моргал левым глазом, что-то бормотал в свое оправдание, не замечая даже сына.

Вот в круг с трудом протиснулся ветеринарный фельдшер.

— В чем дело? — весело спросил он.

— Определи, Пров Иванович, когда и чем убит вот этот милаш, — попросил Никон Лазарев, кивнув на зверя.

Пров Иванович осматривал волка недолго.

— Убит дней шесть-восемь назад, — наконец объявил он. — Картечью в голову. А вот по мертвому пулькой зря лягнули, только шкуру испортили.

— Ну? — придвинулся к Кулигину Игорь Савинов. — Утаить хотел, один попользоваться премией и за шкуру получить.

— Шкурник, вот он кто такой, — сплюнул в снег Иван Ерикеев. — А мы с ним поделились по-честному.

— Эх, Степан, Степан, — укоризненно качая головой, говорил Никон Лазарев, — не компанейский ты человек.

А Кулигин, находясь в кругу односельчан, словно волк в окладе, боялся взглянуть людям в глаза и не находил слов в свое оправдание. Он по-прежнему не видел и Пашку, который тоже осуждающе смотрел на своего отца.

---



# БЕЛЕНЬКИЙ ПЛАТОЧЕК

**В**

ЕЧЕРОМ, после концерта, уборщица тетя Анфиса положила на стол двугривенный, значок сельскохозяйственной выставки, пустую бутылку и вчетверо сложенный носовой платочек ослепительной белизны.

Когда она ушла, я осмотрел «трофеи». Двугривенный мог обронить каждый. Относительно значка сельскохозяйственной выставки я тоже не



сомневался. Их имели только двое: Павел Бойцов и Васька Задоров. Первый из них на выставке побывал и имел полное право носить значок. Васька не видал знаменитую выставку даже одним глазом, но значок носил.

Интересный паренёк этот Васька. Он страшно любит все блестящие предметы, которые можно прицепить к пиджаку. Однажды Задоров, собираясь в клуб и будучи под хмельком, прицепил к лацкану пиджака «Медаль материнства», за что девчатами был зло высмеян. Кстати, за эту страсть к значкам и медалям его прозвали Васькой Звенящим. Когда он пляшет, на его груди словно шеркуны бренчат. Значок мог обронить только он.

Пустую бутылку я выбросил. Сомнений быть не могло, что ее засунул в печку не кто иной, как Сенька Горелышев, дружок Васьки Звенящего, хвастун и забияка.

Загадкой для меня оставался носовой платочек. Чистенький, он лежал передо мной развернутый и заставлял думать: чей? Аккуратными буквами на нем красными нитками вышито:

Я на беленьком платочке  
Вышивала А да Бы.  
Раньше дролю не любила,  
А тепере стала бы.

Чей?

Девушек у нас в колхозе много.

\* \* \*

Я догадывался, кому принадлежит платочек, найденный тетей Анфисой, но вручать его владелице пока не спешил. Спросить же у меня о нем ни одна девушка не осмелилась.

И мне вспомнился один разговор, невольным свидетелем которого пришлось быть почти год назад.

Возвращался я тогда вечером из клуба к доброй старушке Анфисе Ивановне, у которой квартировал. Дело в том, что я родился не в этой деревне, а в городе. После же окончания культпросветшколы был направлен сюда и прижился. Народ здешний понравился да и работу свою ни на какую другую не желал променять.

Так вот, только я подошел к дому Анфисы Ивановны, вдруг с тесового крылечка слышится:

— Значит, ждала?

— Не ждала б, так не писала почти два года каждый день.

— Так в чем же дело?

— Мне надо подумать, Павел...

— Нюра?!

— Не надо, не надо...

Я узнал их. Мужской голос принадлежал Павлу Бойцову, демобилизованному сержанту, тихому и скромному парню, над которым в колхозе кое-кто из парней нередко подсмеивался.

Дело в том, что Павел Бойцов, придя из армии, согласился работать на свиноферме. Его на правлении не уговаривали стать свиномаром, а только предложили. И этот начитанный парень очень просто сказал:

— Раз надо, пойду.

Я, признаться, тогда немножко не поверил, что Павел проявил такую быструю готовность быть свиномаром, но когда он пришел в библиотеку и начал выбирать книги по животноводству, мои сомнения рассеялись.

— Эту читал, — сказал он библиотекарьше, отодвигая пухлый том.

— Вот.

— Чуть устарела, — отверг он и следующую книгу. — Дайте поновее.

— Новее нет.

— Есть, но вы еще наверное не получили.

Помню, набрал он кучу литературы по сельскому хозяйству и, застенчиво улыбнувшись, пояснил:

— В институт буду готовиться. В сельскохозяйственный.

И вот такому-то парню Нюшка Пинеткина только что сейчас сказала: «Мне надо подумать, Павел».

Нюшка была взбалмошная девчонка, красавица и плясунья. И, как большинство красавиц, капризна и самолюбива. Работала она в колхозе учетчицей. Работала неплохо, но на язык была дерзка. Помню, когда председатель Егор Пантелеевич запретил открывать в августе прошлого года клуб каждый вечер, Нюшка всю ночь плясала на крыльце дома Егора Пантелеевича и пела частушки. Она плясала, а Васька Звенящий играл на хромке. Егор Пантелеевич несколько раз выглядывал в окно, пытаясь утихомирить Нюшку, но она неизменно отвечала:

— Не вы ли сами, Егор Пантелеевич, захотели, чтобы мы тут веселились?

И было трудно определить, шутит она или нет. В уголках своего пухленького рта Нюшка носила две маленькие черненькие родинки, отчего казалось, что она всегда улыбается.

Я уже хотел вспугнуть с крыльца эту несговорчивую парочку, но вдруг услышал:

— В чем же дело, Нюра?

- Зачем ты пошел туда, Павел?
- Кому-то надо.
- Но ведь ты механиком в армии стал.
- Механику на ферме легче.
- Ребята смеются.
- Васька Звенящий?
- Хотя бы.
- Тогда и слушай его смех, — жестко произнес Павел.

— Все не свинарь.

Первой прыгнула с крыльца Нюшка и, не заметив меня, выскочила из палисадника. Павел тяжело, как мне показалось, вздохнул, чиркнул спичкой, прикурил папиросу и медленно зашагал по тропинке.

— Покойной ночи, — встретив, просто сказал он мне и добавил: — Бывает же.

Он как будто чувствовал, что я невольно подслушал их интимный разговор.

— Ушли? — спросила меня Анфиса Ивановна. Я не ответил.

— Еще до службы Павла они здесь любили ворковать, — продолжала Анфиса Ивановна. — Старая любовь.

\* \* \*

Не знаю, любила ли Нюшка Пинеткина Павла Бойцова, но дружба между ними была. Одно скажу, Павел Нюшку любил. Я уже ожидал, что Бойцов оставит работу на ферме, но ошибся. Парень этот оказался на редкость настойчив и непреклонен. С тех пор он весь ушел в работу и почти не ходил на гулянки. Изредка заглядывал на танцы, но и то ненадолго. Посудите сами, каково было видеть, как Нюшка, улыбаясь, кружится в вальсе с Васькой

Звенящим и, казалось, не обращает на Павла ни малейшего внимания.

Однажды Павел пригласил Ньюшку танцевать, но к нему таким чертом подлетел Сенька Горелышев и, кривляясь, сказал:

— Пардон, занято.

Бойцов пристально посмотрел на Ньюшку, она опустила глаза. Павел отодвинул Сеньку в сторону, словно вещь, и они закружились. Между ними, я заметил, не было произнесено ни слова. Танец кончился, Павел кивнул Ньюшке и стремительно вышел из клуба.

Шло время. Я часто встречался с Ньюшкой. Ведь она хорошо пела в клубе и не пропускала ни одной репетиции художественной самодеятельности. Наведывался и на ферму, где работал Павел. Однажды, застав Бойцова в маленькой комнатке, что рядом с кормокухней, за стопкой книг, я спросил его:

— В институт готовишься?

— Уже поступил. На первый курс, — просто ответил он.

— Трудно?

— Что трудно?

— Троим тут справляться?

— Троим? — удивился Бойцов. — Было трое, а теперь я один. Управляюсь. Ведь ферму-то я всю механизировал.

— А в клуб почему не ходишь?

Павел взглянул на меня, вздохнул и ничего не ответил.

А вскоре в газете появился портрет Павла и большая статья о нем. На портрете Бойцов вышел таким же, как в жизни: застенчивым, с легким прищуром умных серых глаз. Одет он был в модный

костюм, белую рубашку с отложным воротничком. Русые волосы зачесаны назад, а голова чуть склонена набок. Одним словом, Павла можно было принять за молодого учителя, врача, художника и даже поэта. В статье же говорилось о большой трудовой победе Павла Бойцова, откормившего тысячу голов свиней.

И еще мне запомнился вечер в нашем клубе. На нем чествовали Павла. Ему вручили Почетную грамоту и золотые часы. Потом он выступал сам. Говорил так, что иной лектор позавидует. Во время его речи я посмотрел на Нюшку, сидевшую во втором ряду. Глаза ее были устремлены на Павла, щеки пылали. Она ловила каждое произнесенное им слово и совсем не слушала, что нашептывал ей на ухо Васька Звенящий.

После начались танцы. Я заметил, что Нюшка отклонила приглашение Звенящего идти танцевать и все время искала глазами кого-то. А когда Павла Бойцова под руку увел из клуба секретарь райкома, Нюшка Пинеткина забилась в дальний угол.

В этот вечер она не танцевала.

\* \* \*

И вот беленький платочек лежит передо мною. Я читаю незамысловатую частушку, вышитую на нем красными нитками и без обиняков говорю Нюшке, забежавшей на минутку в клуб справиться, будет ли вечером репетиция.

— Возьмите и больше не теряйте...

Я хотел добавить слово «любовь».

Нюшка смотрит на платочек и молчит. Вечная улыбка в уголках ее рта погасла.

— Две недели назад потеряли, а тетя Анфиса подобрала, — поясняю я. — Ведь твой?

— Мой, — признается Нюшка, вздохнув.

— Любишь?

— Люблю, — прямо говорит она, поднимая на меня глаза.

— А он?

— Теперь не знаю.

Что я мог ей посоветовать? Я пообещал Нюшке откровенно поговорить с Павлом, а платочек оставил у себя.

\* \* \*

Через три дня я встретил Павла в нашей библиотеке, которую он посещал регулярно. Попросил заглянуть в клуб.

— Зачем? — поинтересовался он.

— Просьба одна есть.

— Если участвовать в концерте, то, пожалуй, мне некогда, — задумчиво произнес он.

— Об этом в другой раз поговорим. У меня другое к тебе дело.

— Вот, — достал я Нюшкин платочек, — девушка одна обронила. Встретишь, передай.

— Чей? — взглянул на платочек Павел.

— Кажется, Нюшки Пинеткиной, — стараясь быть равнодушным, ответил я.

— Нюшки? — Павел перевел взгляд на меня.

— Конечно.

— Не могу, — покачал он головой.

— Да ты почитай, что на нем вышито.

Он развернул платочек, прочитал незатейливую частушку и густо покраснел.

— Вы думаете? — тихо спросил он. — Вы знаете?

Я кивнул.

Павел бережно сложил платочек вчетверо и засунул его в книгу.

Не знаю, как и где встретились Павел с Ньюшкой. Только хорошо помню, как через неделю, на репетиции, Ньюшка шепнула мне:

— Спасибо.

С тех пор я часто встречал их вместе. Они улыбались мне, и сердце мое радостно билось от какого-то нахлынувшего тепла, а может, и от сознания того, что в трудную минуту я помог им сохранить ту юношескую дружбу, у которой все еще впереди.





# В ДРОРОГЕ

С

УМЕРКИ упали на землю неожиданно. Повалил густой снег. Не стало видно огоньков раскинувшейся в стороне от большака деревни. Я уже хотел идти искать ночлег, как услышал гудение грузовика. Через несколько минут его фары вырвали рядом со мной у темноты кусок дороги. Я поднял руку. Машина, пробежав по инерции несколько метров, остановилась.

— Садитесь. Вдвоем веселее ехать.

— В Вологду?

Парень кивнул головой и улыбнулся какой-то приятной улыбкой. Он был плечист и белозуб. Русая прядь волос прилипла к вспотевшему высокому лбу. Не зная с чего начать разговор, я осматривал кабинку. Неожиданно взгляд остановился на открытке, приклеенной к нижней части ветрового стекла.

— Артистка Самойлова?

— Вот и вы ошиблись, — опять улыбнулся водитель. — Похожа?

— Очень.

— Моя спасительница.

Парень помолчал.

— Да. Не она, так сейчас Дмитрий Хохлов не держал бы в руках вот эту баранку. А случилось это так:

В армии я стал шофером. После демобилизации подумывал махнуть на какую-нибудь стройку в Сибирь. Но тут письмо получил. От председателя. Писал он о том, что ждет в колхоз. Машины, мол, новые купили и невест хороших вырастили. Приехал домой. Мать от радости две квашни теста пересолила. Председатель сдержал свое слово — дали мне новехонький грузовичок. А вскоре встретилась и та, ну, которая, понимаете, не может не встретиться...

— Она? — спросил я у шофера, взглянув на «артистку Самойлову».

— А встретились мы с ней, можно сказать, случайно. Уколол я палец руки ржавым тросом. Распух он — спасения нет. А время горячее, идет сев и все прочее. Положил однажды свой больной палец

на бревно, достал перочинный нож — как бритва — и говорю Веньке Малышеву, грузчику: «Режь!»

А Венька медлит. Тогда я на него цыкнул, он и полоснул ножиком. Забинтовал я палец и опять баранку кручу. Через сутки стало невмоготу. Пришлось идти на медпункт. Там я и встретил Галку. Имя-то ее потом узнал. Осмотрела она мою руку и спрашивает:

— Кто это вас так... бороновал?

Рассказываю. И хотя от боли готов в узел завязаться, не могу от нее глаз отвести. Сделала она мне какие-то припарки, посоветовала еще примочки и наказала приходить через день. Разумеется, я не стал дожидаться послезавтра, а на другой день, улучив минуту, подкатил к медпункту на машине. Народу болящего у нас мало, поэтому сиди с Галкой сколько душе угодно.

Рука у меня давно зажила, а я все хожу и хожу в медпункт. Кончу вечером работу — и туда. По деревне слышно: «Смотрите, Митька Хохлов опять к фельдшернице потопал». А я и не скрывал этого. Жила Галка в соседней с медпунктом комнатухе. Приехала она из города. Родителей у нее не было. В детдоме воспитывалась.

Пришло время и признался я ей. Ранила, мол, ты, Галка, меня вот в это место. На сердце показываю. А она серьезно:

— Подожди, Митя, проверь свое чувство. Время — лучшее испытание.

Договорились свадьбу сыграть осенью, в ноябре. Мать об этом известил. Она радешенька. Нравилась ей Галкина скромность и обходительность. После этого начал я, что называется, калымить. Деньги на свадьбу копить. Поедешь за чем-нибудь в город.

по дороге подберешь людей в кузов — плати по пятьдесят копеек с носу. Обратное — столько же. В городе, случилось, просили кое-что перевезти — меньше как по трешнице не брал. А раз возили зерно сдавать, так у нас на трех машинах четыре мешка ячменя лишних оказалось. Спрашиваю у дружков, что будем с этими мешками делать.

— Привезем в правление, скажем председателю, мол, украсть украли, а продать — кишка тонка. Эх, ты, — вспылил Егорша Камнев. — Да у нас городские для куриц зерно с руками оторвут.

Дальше — больше. Пить я не пил, разве что в выходной пивком побалуясь, поэтому деньги копились. И на беду или на добро показал я однажды их Галке. Отодвинулась она от меня, заходила по комнатушке, брови сдвинуты, глаза, как два горящих уголька.

— Чует мое сердце, нечестные это деньги, Митя. Расскажи мне обо всем.

Отказаться я не посмел. Владела она моим сердцем безраздельно. Когда кончил рассказывать, загворила она:

— Повинись и сдай эти деньги в колхозную кассу. Пока не сделаешь этого — я жить не буду спокойно. Зачем нам они. Жить начинать надо со светлого, радостного. Сидеть на свадьбе, слышать поздравления людей и думать, что это мы их обворовали... Нет, нет...

— Но...

— Нет, Митя, нет. И не приходи ты ко мне до тех пор, пока не повинись народу.

Кремнем оказалась Галка. Вечером следующего дня увидела, что подхожу к медпункту, через окно спросила:

— Ну?

Я отрицательно покачал головой. Дверь захлопнулась перед самым носом. На следующий день повторилось то же, как в сказке о лыке да мочале. А ведь все эти дни я ходил сам не свой. И совестно, и страшно вато каяться, и к ней тянет. Признаться, значит, выдать себя, опозорить перед всем колхозом, дружков выдать... Нет, не могу.

По деревне пополз новый слух: «Фельдшерница то Митьке Хохлову поворот от ворот показала». Какое мне было? Людей дичиться стал. Иду по деревне и кажется, что из каждого дома на меня пальцем показывают: «Вор, вор... Так ему и надо». Мать, видя меня таким, лицом потемнела. Не выдержала старая, сходила к Галке. Помню, вернулась домой, встала у печки, руки на груди под передником, на щеке слеза.

— Правда это, сынок? — спрашивает она меня.

В ту ночь я спал плохо. Мучили кошмары. Снится, за мной пришли. Я наскоро оделся, спустился с повети к корове и бесшумно высигнул через узкое оконце в картофельник. Утро, а я, как волк, трушу к ближайшему леску, оставляя позади себя росный след. А вслед мне с укоризной смотрят глаза-угольки, ее глаза...

И я решил. Только пошел не к председателю, а к секретарю партийного комитета.

— Садись, служба, докладывай, — смеется Павел Александрович.

Надо заметить, что Павел Александрович всех демобилизованных называл «службой». Сам бывший офицер, любил он солдат. Собрался я с духом, брякнул перед ним толстенную пачку денег и положил свои руки на стол...

Водитель смолк. Молчал и я, думал о только что слышанном. Уже мелькали редкие снежинки. Небо светлело и на нем стали проклевываться первые незрелые звезды. А впереди ясно вырисовывались огни льнокомбината. Выходя в центре Вологды из машины, я только спросил у Дмитрия Хохлова:

— А где сейчас твоя спасительница?

— Галка-то? — опять улыбнулся водитель. — Так к ней я и еду. В роддоме она. Недавно позвонили, что сына она мне принесла. Вот председатель и разрешил съездить проведать. Ну, пока!



## Конфуз

О

БЕДЕННЫЙ перерыв уже близился к концу, когда дверь столовой распахнулась, и на пороге выросла испачканная грязью и нигролом фигура Мишки Дергача, водителя изрядно потрепанной леспромхозовской тректорки. Вытирая руки, Мишка беглым взглядом окинул столики и, заметив за одним из них ездового Павла Светикова, с присущим ему озорством заорал:

— Мотосмеховодителю привет! Ну, как твои овсяные двигатели? Тянут? У тебя, я вижу, новое зажигание, — толкнув ногой кнутовище Светикова, надоедал Мишка. — Твоему виду транспорта скоро будет труба, — продолжал он, присев за стол.

— Не зубоскаль, — строго предупредила Мишку официантка Настя. — Иди, вымой руки.

— Настенька, я ж механизатор, — притворно улыбаясь, возражал он. — Не то, что...

— Обеда не принесу, — отрезала Настя.

— Настенька, вымою... в двух водах, — поспешно проговорил Мишка, вставая из-за стола.

— Механизатор, — иронически произнесла вслед Дергачу Настя. — Научился баранку крутить и воображает... А в голове, как в пустом амбаре.

Светиков допивал компот, когда Мишка вернулся от умывальника и с напускной важностью сказал Павлику:

— Видишь Дергача? Так вот, скоро вызовут его к начальству и скажут: «Товарищ Дергач, вручаем вам новую машину. Просим принять ее, так как у нас нет опытных механизаторов». Дергач подумает немного и ответит: «Только выбирать буду сам». Ему скажут: «Пожалуйста». Понял?

— Не думаю, — спокойно ответил Светиков, поднимаясь со стула.

— Кто же тогда, извините за выражение, крутить баранку будет на тех двух автомашинах, которые лесоучасток завтра получает? — Дергач презрительным взглядом проводил до порога Павлика и скривил губы.

На лесоучастке мало кто знал, откуда «свалился» к ним Дергач. Одни говорили, что его прислали с курсов шоферов, другие — что он сам пришел на



лесоучасток и нанялся на работу. В трудовой книжке у него стояло что-то около десяти отметок различных леспромхозов: «Принят... Уволен по собственному желанию...»

— На худой технике я не работник, — заявил Дергач по прибытии на лесоучасток. — У меня опыт...

Случилось, что на второй день после появления на участке Дергача состоялось собрание лесозаготовителей. После доклада начальника первым решил «толкнуть речь» Дергач.

— На нас, механизаторах, лежит огромной важности дело. Мы — ударная сила в лесу. Так будем работать так, как я... Как лучшие... Равняться, так сказать, на этих лучших, — выкрикивал он.

Некоторые слушали Дергача и улыбались, другие же думали: «Парень — гвоздь. Этот всем нос утрет...» К числу последних принадлежал и начальник лесоучастка, который и назначил Мишку на автодеррик.

В одну из смен начальник застал Дергача спящим в кабине, а рабочих — мирно греющимися у костра. Мишка вылез из кабины заспанный, на правой щеке его виднелся красный отпечаток гаечного ключа.

— Поломка, жду механика... А пока вот придавил, так сказать, комарика, — как будто ничего не случилось, зевая, ответил он.

Механик, ремонтируя машину, возмущался, что такую пустяковину не мог устранить сам водитель.

— Откуда ж я знал, — оправдывался Дергач.

Когда подобная история повторилась, Дергача сняли с автодеррика. Дня два он болтался по поселку без дела, а на третий ему вручили только что вышедшую из ремонта трехтонку. Дергач на ней стал

подвозить горючее со станции. Машина у него часто ломалась, но Дергач продолжал держать фансон, хвастался своим опытом, благодарностями, заслуженными, якобы, в одном из отдаленных лес-промхозов. В его руках никогда не видели книги, а когда кто-то из шоферов предложил повторить «Автомобиль», Дергач заявил: «Хм, это для меня — пройденный этап».

Через месяц все узнали Дергача как незадачливого шофера и болтуна. Но, несмотря на колкие замечания водителей, он нисколько не исправлялся, а, наоборот, в ответ кривил губы и начинал беззаботно насвистывать какой-то легкий опереточный мотив. Он не интересовался никем и ничем, не заводил знакомств, считая, что равных ему нет.

Если кое с кем он еще считался, то к ездовому Павлику Светикову, тихому и скромному парню, работавшему вот уже месяц на единственной в поселке лошади, относился презрительно. «Машина — не кобыла. И надо иметь ум, чтобы на ней работать», — говорил Дергач.

— А у тебя он есть? — вскользь бросал Павел, не стараясь ввязываться в спор.

— Что-о? — начинал задираться Дергач.

Советов Павла он и слушать не хотел. «Ну, что путного скажет человек, который крутит хвост», — думал он. А когда Дергач узнал, что Светикову объявили благодарность, то не поверил, сходил в контору лично удостовериться и вышел оттуда, как говорится, сам не свой. «За что? — возмущался он. — За подвозку дров и продуктов к столовке? Нет, тут что-то не то... Не иначе, как блат...» И после этого он совсем перестал разговаривать с Павликом.

Через два дня после памятного разговора в столовой Дергач направлялся из поселка в очередной рейс. На полпути его машина два раза как-то странно чихнула и, пробежав по инерции метров тридцать, остановилась. «В чем дело? — недоумевал он, копаясь в моторе. — Искра есть, глушитель на месте... Странно».

Грязный и потный, в разорванном вдоль спины комбинезоне и с заводным ключом в руках ползал Дергач под машиной. Вдруг он услышал, как рядом, шурша гравием, остановились две автомашины и послышались знакомые голоса Павлика Светикова и Насти-официантки.

— Эй, мотосмеховодитель, вылезай! — насмешливо крикнула Настя.

Сначала из-под машины послышался легкий опереточный мотив, а потом показалось красное лицо Дергача. Он только что хотел презрительно скривить губы, как вдруг застыл от неожиданности и изумления: за рулем передней машины сидел Павлик, а за рулем второй — Настя.

— Видишь, каких красавцев получили. Полтора месяца после окончания курсов шоферов ждали, — говорил Павлик, направляясь к машине Дергача. — Что тут у тебя? — открыл он капот двигателя. — Э, да в баке бензину нет ни капли.

— Ты... вы... а мне... казалось, — все еще не придя в себя, тянул Дергач, переводя изумленный взгляд с Павлика на Настю.

— Казалось, — передразнила его Настя. — Знаешь, когда моей бабушке казалось, она сначала крестилась, а потом начала обучаться грамоте: Говорит — второе помогло...



01

КОСТРА



А БЕРЕГУ Большого Пучкаса, недалеко от Кубенского озера, встретились три охотника — два молодых и один постарше. Закусили немудреной охотничьей снедью, помолчали, подбросили в костерок сухих прутьев, а когда рыжий месяц выпустил на небо стада звезд, разговорились они о завтрашнем последнем и, значит, решающем дне охоты, о том, как лучше стре-

лять уток: навскидку или с поводкой; о погоде, и незаметно, но вполне естественно, подошли к вечной теме — о любви.

— В любви всегда есть частица безрассудности, — сказал охотник постарше, удобнее располагаясь у костра. — А ведь любовь, братцы, приходит как в песне: «Нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь...» У меня был друг, так тот свое продолжение к этим словам придумал: «Она придет и руки стянет, наверняка ты пропадешь...»

Хороший был парень Ромка. Работали мы с ним в паровозном депо. Оба электриками. Одного возраста, одного роста. Ромка белобрысый, я — тоже. Цвет глаз одинаковый. Видите мой нос-пуговку, у Ромки нисколько не лучше. Одним словом, люди при первом знакомстве считали нас двойняшками и часто путали.

Из-за этого сходства три года назад нас вместе и направили в один из колхозов на весенний сев. В порядке шефской помощи. Ехать-то из электрогруппы должен был один я, а Ромка остаться. Но на второй день встретил его председатель завкома и набросился:

— Так ты не уехал? Еще вечером все наши на грузовике отправились.

— А разве я должен? — простодушно спросил Ромка.

Он не догадался, что председатель завкома его за меня принял.

— Скажи мастеру, и чтоб духу твоего здесь не было.

Приказ есть приказ. И в тот же день вечером мы с Ромкой блаженствовали в деревне Дорожайке за парным молоком.

Утром бригадир пришел давать нам наряд. Мы только что умылись во дворе у колодца. Стоим веселые, под куртками мускулы играют.

— Черт-те что, — уставился этот бородач на нас. — Никогда бы не поверил, что может двоиться в глазах у трезвого человека.

Мы с Ромкой расхохотались и убедили бригадира, что нас двое. В одинаковых коричневых спортивных костюмах, девичьих беретах мы еще больше стали похожи друг на друга. Прокоп Павлович, так звали бригадира, поручил нам подвозить к сямкам зерно на пароконной телеге и, уходя, посоветовал:

— Вы бы в одежде какое-либо различие установили. А то похожи на два пятака одного года чеканки. Не поймешь, кто из вас Роман, а кто Степан.

Так, с легкой руки Прокопа Павловича нас стали в Дорожайке называть: два пятака.

Однажды в выходной день пошли мы с Ромкой на Иволгу. Речка там такая шустрая протекает. Идем берегом, смотрим на воронки да завитушки, что по воде течением раскиданы. Чайки над головой носятся, на кустарниках почки лопаются, выпуская клейкие листочки. Ромка идет впереди меня, прутиком помахивает. Вдруг он как закричит:

— Степан, я платье нашел!

Подхожу, вижу, верно, платье: белое с красными горошинами.

Вдруг в это время над берегом вырастает голова в белой косынке и слышится крик:

— Спятили! Марш на ружейный выстрел отсюда: вылезать буду.

Ромка пожал плечами, пошел за куст. Я за ним. Через минуту слышим:

— Все. Идите, раками сырыми угощу.

Подходим. Перед нами девушка, как девушка. Ямочки на щеках, озорные карие глаза и... Поверите, никогда не видал я таких бровей. Вернее, у нее была одна бровь — темная, пушистая, от виска до виска.

— А разве раков сырых едят? — сказал я.

— Вы у Матрены в Дорожайке живете? — спросила девушка.

— У нее.

— Слыхала о вас.

— Что?

— Хорошо работаете. Отлично. Даже посредственно, — и она громко рассмеялась. — Это у Прокопа Павловича такая поговорка.

— Не холодно... в воде? — сказал Ромка, не сводя с девушки глаз.

— Ничего. Я привычная. С детства рано начала купаться. И раков ловить.

— Вкусные?

— Особенно с пивом, — отвечала она, легонько пнув шевелящуюся на земле сумку. — Шучу. Раков я не ем. Наловлю и отдам нашему перевозчику. Тот любитель. «Надо, говорит, их, проклятущих, всех в кипяток, чтобы они, когда утону, самого не съели».

Так мы и познакомились со Светланой. Работала она за рекой, в трех километрах от нас, фельдшером. Проводили мы ее до дому.

Жила она одна, в соседней комнате с медпунктом. Посидели в первый вечер, поговорили о городе, она там училась, вспомнили знакомые места, патефон завели. На прощанье Светлана просила заходить, а то ей, мол, одной вечерами скучно.

На второй вечер речь зашла о литературе. Тут уж Ромка себя проявил. Читать он любил. Я сидел и слушал. Больше ничего не оставалось делать. Дважды даже его Ромой назвала. Тогда впервые и шевельнулось во мне что-то такое нехорошее. Зависть не зависть, ревность не ревность, но похоже на них.

— Ты, Степа, чего сейчас читаешь?

Наконец-то, на меня она обратила внимание. Но пока я подыскивал слова, чтоб поскладней ответить, Ромка сказал:

— Ему некогда. В техникум поступать готовится.

— В какой?

— Электротехнический.

— А ты?

— Пока нет, — конфузливо ответил Ромка, и я заметил, что он многое отдал бы за то, чтобы иметь основание сказать наоборот.

— Уважаю людей, которые в жизни чего-то добиваются, — сказала Светлана. — Сама мечтаю об институте.

Так, день за днем, сутки за сутками, мы и проводили с Ромкой. Как ни устанем, а вечером идем к Светланке. Колхозники про нас говорили: «Смотрите. Два пятака опять к фельдшернице за реку потопали».

Светлана относилась к нам одинаково, ни к кому не отдавала предпочтения. Никого не обнадеживала. Мы же в нее оба втюрились по самые уши.

Придешь, бывало, от нее, долго не спишь, ворочаешься на кровати.

...Во сне стал ее видеть. Стою раз будто бы со Светланой на берегу Иволги, спрашиваю, любит ли



она меня, а в ответ слышу: «Раков сырых хочешь?» А Ромка, дьявол, валяется рядом на траве и умирает от смеха.

Дело дошло до того, что друг к другу мы стали относиться подозрительно. Не допускали, чтоб кто-либо из нас один на один оставался со Светланой. Поговорить же с нею наедине хотелось и мне, и, разумеется, Ромке.

Однажды утром, дня за три до окончания срока нашей шефской помощи, Ромка, кряхтя, слез с кровати и начал, словно семидесятилетний старик, жаловаться на боль в пояснице.

— Знаешь, Степа, — сказал он мне, — ты сегодня поезжай один, а мне, может, придется сходить к врачу.

Но хитрость Ромки я разгадал сразу, ее выдавало все Ромкино поведение.

— У меня тоже, Рома, со спиной что-то того, — ответил я. — Так что пойдём к врачу вместе.

— Почему ты думаешь, что она именно тебя любит? — нажимая на слова «тебя» и «именно», вдруг жестко спросил Ромка.

— Я в этом не уверен, как не уверен и в том, что она предпочитает именно тебя, — слово «именно» я тоже произнес с ударением.

— Черт с тобой, поедём пшеницу возить, — зло сказал Ромка.

Весь день мы работали не разговаривая. И второй, и третий. Ромка последние ночи спал на полу. Ходил он в ковбойке и кепке, чтоб отличаться от меня.

...Утром, в день отъезда в город, мы встали раньше обычного. Машина вот-вот должна была прийти за нами. Но мы думали о ней меньше всего. Так уж

случилось, что вышли из дому, словно по команде, не сговариваясь и не глядя друг на друга. Во дворе забыли поздороваться с Прокопом Павловичем, который, вероятно, посмотрев вслед нам, произнес свое: «Хорошо, отлично, даже посредственно» и укоризненно покачал головой.

Светило солнце. В небе пел жаворонок. Кругом зеленела листва. Воздух благоухал. Но мы не замечали этих красот природы. Молча, словно два не друга, идем мы с Ромкой нога в ногу, он справа, я слева, а тропинка змеится между нами. Настроены мы в этот день были решительно.

Светлана, очевидно, заметила нас из окна. Вышла встречать на крыльцо. Мы остановились.

— Светлана, скажи, — начал Ромка.

— ...кого из нас ты любишь? — закончил я.

Ее глаза перестали смеяться, темную, пушистую бровь нахмурила. Несколько мгновений пристально смотрела на нас, потом вдруг спросила:

— Это правда, что вас Пятаками зовут?

Остывшие, пристыженные, мы шли обратно. А Светлана еще вслед нам крикнула:

— Пишите, не забывайте!

В перелеске мы с Ромкой остановились, посмотрели друг на друга и... от души рассмеялись. Над собой, разумеется, смеялись.

Рассказчик смолк. Потом, не спеша, выкатил из гложнувшего костерка уголек и начал раскуривать давно погасшую папиросу.

— А дальше что? — в один голос спросили молодые охотники. — Писали Светлане?

— Я — нет. Не догадался... А Ромка? Наверное писал, если через полгода они поженились.



## ЛУЧШЕ ПОЗДНО...



**М**РИНЕЯ Петровича, деда Иришку, как его называли в Починках, знал каждый. Был это невысокий тощий старик с рыжей бородкой торчком и усталыми выцветшими глазами. Зимой ходил он в рваном полушубке, зачьем треухе и промороженных валенках, которые, заходя в избу, всегда оставлял в сенях, чтоб не оттаяли и не потеряли, как он сам выражался, свойств

непромокаемости и согревательности». Летом его можно было видеть босым, в тяжелых штанах из шинельного сукна и прожженном в нескольких местах ватнике.

Дед Иришка был известен тем, что долго не задерживался ни на одном колхозном деле. Повозит, скажем, несколько дней молоко на завод и начнет уверять: мол, «режь, а душа больше не лежит». Но так как людей в колхозе не хватает, то бригадир Семен Гаврюшов вынужден был давать ему наряды на разные работы. Но и тут старик оставался верен себе: позаготовляет, например, два-три дня кольца для изгороди и опять на душу ссылается. «Непутевый с рождения», — отзывался о нем Гаврюшов. Пробовал он деда Иришку просто-напросто «забывать». Подолгу не заходил к нему в избу. В такие дни старик или мастерил бельевые корзины на продажу или днями торчал на речке с удочками. Но был он рыболовом-неудачником. Да и какая может быть удача на нашей Иволге, если после того, как на ней соорудили ГЭС, в омутах остались одни тощие щурята.

Но дед Иришка не бросал свое явно убыточное занятие.

Его жена Дарья, умелая колхозная овощеводка, частенько ругалась:

— Идол, радикулит поймал, ревматизм поймал, разной хвори из тебя хоть тряси, а все не угомонишься. Шел бы лучше косить. Полезнее людям и себе выгоднее.

Дед Иришка на это отвечал:

— Дура, мне, может, процесс более важен, священная дрожь рук, когда клюет... Ничего ты не понимаешь.

— Чего тут понимать, — выходила из себя Дарья. — Обленился. Вон твой бывший дружок, Миша Перцев, одного аванса пятьдесят за месяц отхватил... Сапоги и плащ новехонькие завел. А ты...

— Ты, ты, — начинал тоже сердиться дед Иришка. — Говорено тебе, что у меня нет ни к чему призвания. А без него, прав учитель дорофеевской школы, толку из человека не выйдет. Слушала лекцию, помнишь, что с этим даром родиться надо. Родиться, вникни!

После каждой подобной перебранки дед Иришка забирал удочки и надолго уходил на речку.

Но вот как-то произошло почти чудо. Дед Иришка, идя с рыбалки, повстречал бригадира, загородил ему дорогу удочками.

— Стой, я не чумной, — прохрипел он, держа в левой руке жалкий улов. — Все. Точка. Отрыбачил. Давай работу... У всех в домах жизнь, а тут... Да и совесть меня, может, вот так переломила...

И дед Иришка хряснул о колено удочки и отбросил далеко в сторону трех оскаленных щурят.

Разговор бригадира с дедом Иришкой о работе был серьезным.

— Решил я тебя, Ириней Петрович, рекомендовать на постоянную работу. На ответственную. Хватит тебе быть «куда пошлют». Надеюсь, что на этот раз душа примет назначение. Потому что поверил я тебе.

Дед Иришка стоит перед Гаврюшовым, с ноги на ногу переступает. Он не может понять, о какой такой постоянной да еще ответственной работе ведет речь бригадир. Надо сказать, что всех ответственных постов он ужас как боялся. Причина была. После войны ходил он некоторое время в кладовщиках. А

образование у деда какое? Учился четыре года в церковно-приходской и все в первом классе. Потом через несколько лет женился. Вот все его образование и вся, можно сказать, биография, поскольку он из родных Починок почти никогда и никуда не выезжал.

А бригадир между тем и говорит:

— Некогда мне с тобой тары-бары растабаривать и в жмурки играть. Нужен нам дневной сторож на ферму. Согласен?

У деда Иришки тут как бы отлегло от сердца и не отлегло.

— Я не шучу. Работа ответственная. Боремся за молоко, должен сам знать. От тебя многое будет зависеть.

Хотя дед Иришка и привык к тому, что его посылали на самые черные работы, но от предложения бригадира его даже немного скривило. Дневной сторож, или скотник, как называют эту должность в Починках. Хорош ответственный постоянный пост! Хотел он уже отказаться, но вспомнил, что сам напросился на работу, смолчал.

— Скоро начнется стойловое содержание скота, — продолжал бригадир, — работа твоя на ферме будет не очень чтоб тяжелая, но и нелегкая. Главное, в тепле. Похаживай вдоль коровника да метлой помахивай.

И не успел дед Иришка ничего сказать, как Гаврюшов подал ему руку.

Так дед Иришка и стал дневным сторожем. Ферма в Починках хорошая. Из кирпичей построена. Светло, автопоилки и подвесная дорога имеются. Работа у скотника одна — наводить чистоту. Ходит дед Иришка вдоль фермы, клички коров изучает:

«Рыдалочка», «Росинка», «Ягодинка», «Ясная», «Зоренька», «Березка»... Словно из стихов или частушек они выписаны.

Но скоро заметил дед Иришка, что не к каждому животному клички подходят. Однажды он сказал доярке Клашке Коваленковой, что корове Ясной явно по ошибке приклеили хорошую кличку.

— Это почему же, Ириней Петрович? — спросила Клашка, прищутив карие глаза.

— Какая же она Ясная, если до ноздрей навозными нашлепками разукрашена. Вот Рыдалочке, это верно, ничего больше такого не остается, как рыдать в руках у такой доярки.

Что тут поднялось! Видать, попал дед Иришка не в бровь, а в глаз. Набросилась на него Клашка. Кричит, что это, мол, не деда Иришки дело вмешиваться в ее обязанности, что, дескать, лучше бы он поухаживал за своей бородой, солому из нее вытряс. Советовала почаще в автопоилки смотреть за место зеркала и еще другое.

Но дед Иришка не сдался. Взяв метлу на изготовку, словно ружье, он закричал:

— Небось, свою животину, что дома стоит, холишь не так, как Рыдалочку. А почему, я тебя спрашиваю?

Клашка Коваленкова аж побледнела от злости на деда Иришку. Замухрышка, первейший лентяй в Починках вздумал ее учить.

— Представление продолжается, — вдруг услышали доярки чей-то незнакомый голос.

Кто это еще такой? Оглянулись. Стоит позади них парень лет двадцати пяти. Невысокий, в серой кепке, в плаще такого же цвета, доходящем почти до новеньких блестящих калош. Появился он на

ферме как раз в то время, когда только что закончилась дневная дойка.

— Крой их, дедок, под занавес, — одобрил незнакомец и залиvisto засмеялся.

— Вы, случаем, не из филармонии? — ехидно спросила парня Клашка.

— Нет, из сельскохозяйственного института, — серьезно ответил он. — Буду работать у вас зоотехником.

Зоотехник, не говоря ни слова, взял из рук Клашки подойник и подсел под Рыдалочку. Несколько тонких и редких струек молока ударились в оцинкованное дно.

— Полстакана, а то и полный стакан наберется, — не то сам себе, не то дояркам сообщил он. — У вас на ферме, как мне сказали, двести коров. Если в вымени каждой из них оставить за дойку по сто граммов молока, то можно потерять... двадцать килограммов. За день — шестьдесят. За месяц... тысячу восемьсот... За год... тысячу восемьсот умножить на двенадцать... Получится...

Деду Иришке новый зоотехник сразу же понравился. Неказист на вид, но, видать, мозговит. А считает как! Доярки тоже удивленно смотрели на парня. Доить коров умеет и, наверное, в своем деле не профан. Только Клашка, эта лучшая певица колхозной художественной самодеятельности, хмурила белесые брови, под которыми точечками поблескивали карие глаза.

А зоотехник меж тем продолжал:

— Ладно, вечером подсчитаем. Соберемся в красном уголке и потолкуем. Простите, я забыл познакомиться: Коноплев... Максим Пантелеевич.

Первым представился зоотехнику дед Иришка.



— Ириней Петрович Кольшкин.

С приходом Максима Коноплева распорядок дня на ферме стали строго выполнять. Дед Иришка, после того, как его похвалил зоотехник, из кожи лез, чтоб не ударить лицом в грязь. Как-то утром, уходя на работу, он сказал своей Дарье:

— Сегодня задержусь. Гаси свет до меня.

— С Мишей Перцевым стакнешься?

— Какой там Перцев. У нас вечером учеба... зоотехническая. Первый день. Максим Пантелеевич очень просил меня присутствовать. Говорит, без тебя, Ириней Петрович, ничего у меня не получится.

Дарья улыбнулась. Она привыкла прощать деду Иришке безобидные грешки, вроде страсти кое-когда приврать. Да и сам Кольшкин стал вести себя теперь более независимо. Особенно после первой полочки, когда он принес жене около пятидесяти рублей, утаив некую толику на «маленькую». И что главное, дед Иришка почти совсем перестал болеть.

— Некогда, — заявил он бригадиру Семену Гаврюшову, когда тот справился о его здоровье. — Подумай, Семен Иванович, доярки принимают меня в свою бригаду. Говорят, раз решили бороться за этот... коммунистический труд, то и старики пусть подтянутся.

— Правильно, Ириней Петрович, — сказал бригадир.

Дед Иришка пришел на ферму довольный. Он с удовлетворением отметил, что с каждым днем на Рыдалочке навозных нашлепок становится меньше и меньше, а Ясная вроде бы не так уже совестится своей клички.

Семен Гаврюшов внимательно следил за Кольшкиным. Он все время ожидал, что в один прекрас-

ный день Иришка подойдет к нему и заявит, что «душа перестала лежать» к этой работе. Но шел день за днем, месяц за месяцем, а старик исправно ходил на ферму. Прошло два года.

Недавно в райцентре к автобусной станции подошел плотный, с бородкой торчком, в сером костюме в полоску и такого же цвета плаще старик. Он потоптался на меду кленовых листьев, поставил около ног ядреный ивовый саквояж и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Все едут, все куда-то едут. Думают, машин стало много, то и надо туда-сюда шастать.

— Так ведь и ты, дед, куда-то нацелился, — отозвался конопатый паренек в вельветке.

— Верно, — живо подхватил старик. — Но у меня особ статья. Я еду, доложу вам, по заданию.

— Ответственное, должно быть, задание, — усмехнулся парень. — Не в саквояже ли спрятано?

— Там, мил-человек, там, — не замечая иронии, ответил старик. — А дано оно мне, как бы сказать поточнее... за призвание.

— На печи лежать?

Дед Иришка, а это был он, вместо ответа достал из саквояжа какую-то бумагу, свернутую трубочкой.

— Видишь? — лукаво спросил он парня.

— Ходатайство о пенсии.

— На, посмотри, — подал бумагу дед.

Парень взял бумажную трубочку деда Иришки и вслух прочитал: «Путевка... В дом отдыха...»

А дед Иришка меж тем комментировал:

— Не ехал, но заставили. Бригадир так и сказал: «Отдохни, Иришей Петрович, очень ты нужный для колхоза человек».



## А АТТИЧКИ НЕБЕСНЫЕ

**О** БЕРЕГУ спокойного, похожего на огромную серебряную монету озера Чары, я подходил к третьей бригаде колхоза, носящего поэтическое название «Ясное утро». Стояла такая прекрасная погода, когда особенно свежо ощущается русская золотая осень. Кругом было столько оттенков света, что, казалось, невидимая рука размельчила солнце и посыпала им землю.

По берегу озера тянулось большое поле озимых. Редкая изгородь, в три жерди, предохраняла посевы от скота. Рожь уже взошла и буйно разрасталась. Я шел и думал о той большой силе жизни, которая скрыта в этих нежных цвета зеленого бархата побегов.

— Куда забралась, окаянная, — вдруг услышал я высокий женский голос. — Все бы ты блудила!

Я оглянулся. В стороне, на пригорке, спокойно паслась на колхозной озими толстобокая с пощербленными рогами коровенка. К ней, размахивая суковатой палкой, подходила маленькая сутуловатая старушка в вязаной кофте. «Я вот тебя!» — грозила она, но корова не обращала на старушку ни малейшего внимания. Вот старушка замахнулась, но не успела палка опуститься куда следует, как корова взбрыкнула, нагнула голову и бросилась на старушку. Дальнейшее произошло в мгновение ока.

Я помог старой колхознице согнать животное с озими и, кивнув вслед удаляющейся коровенке, спросил:

— Ваша?

— Станем мы такую держать, — ответила она и, как показалось мне, даже обиделась.

— Чья же?

— Известно, что не колхозная, — старушка стщила с головы ситцевый платок и поправила седые волосы. — Есть тут у нас один такой... Колхозник не колхозник, а так, одно название. Птичкой божьей народ окрестил. Интересно? Интересна тут мало. Посмотрели бы на него: здоров, как бык, а работает, как распоследний лодырь. Ну, и жена ему под стать. Нигде не работает. Когда-то училась, но в интеллигенцию не вышла, по уму, видать. Да и к

колхозному делу не приросла. Живут, что им не жить, лучше любого... птички божии.

Старушка на минуту смолкла, а потом спросила:

— Откуда будете?

Я сказал.

— Ах, из газеты... Не часто у нас из газеты бывают. Фамилию свою, родной, скажу, мне бояться нечего. И птичек этих скажу... Только вы их так и назовите, когда писать будете. Верней будет, чем, скажем, Журавлевы.

— Но почему же — птички божии?

Колхозница внимательно посмотрела на меня, потом просто ответила:

— Стишок такой есть о птичках божьих, которые не знают ни заботы, ни труда. Вот и эти им под стать. Только разница есть. Наши колхозные птички ни заботы, ни труда в колхозе не ведают. А для себя знают, где можно полакомиться. Помню, весной Журавлев напросился пахать. Дали ему хорошую лошадь, плуг. И что же думаете? Посадил свою картошку, а потом: «Спинушку разломило, мочи нет». У таких особенно рука к себе гнется. Выпросил в колхозе поросенка — не заплатил. Взял петуха, мол, курам что-то невесело, не вернул. Отшутился: «Он, мол, к нам в дом вошел». И не требовали, вот беда! Для себя Омела из белой редьки красный сироп добудет.

Недавно как-то говорю ему: «Ермил Иванович, уж не отморозил ли ты совесть в лютую стужу? Колхоз тебе все дает: недавно бревна для нового дома подвез, а ты — тринадцать трудодней в месяц! Мне шестьдесят, а в работе за молодым гонюсь». Молчит, себе на уме. Махнула я рукой: говорить с ним, что глину жевать.

Колхозница остановилась, о чем-то раздумывая, потом продолжала:

— Хотя мне не по пути, но, пожалуй, провожу вас до бригадира. Один найдете? Ладно, время, надо сказать, дорого. Все по бережку вам. Вон там дома, то будет Обшара.

Через пятнадцать минут я был уже у хутора, носящего странное название «Обшара». У крайнего дома остановился, решив зайти напиться. Только открыл калитку небольшого садика, обнесенного высоким частоколом, как чуть ли не на грудь мне бросился матерый рыжий пес. Я палкой отогнал его и подошел к крыльцу. Домик со всех сторон окружали всевозможные пристройки: хлев, свинарник, курятник, собачья будка и еще какие-то непонятные клетушки. Вокруг всех этих «сооружений» колошились куры, гуси, резвились кролики... Недалеке, на изгороди, сушилась рыбацья сеть, у берега на легких волнах покачивалась лодка.

Я постучал, открыл дверь, поздоровался. За столом у дымящегося чугуна сидели женщина лет тридцати пяти и девочка лет пятнадцати. На приветствие они не ответили. Я попросил воды.

— Проходите, проходите, — наконец сказала хозяйка.

Она что-то шепнула девочке, и та с ковшом в руке выскочила за дверь. Я осмотрелся. Обстановка хорошая: гардероб, трюмо, кованый сундук у окна, на стенке, над часами, «Вирсавия» Рубенса.

— В тесноте — не в обиде, — словно угадав мои мысли, произнесла женщина. — Скоро новый дом поставим, попросторнее будет.

— Да, а вот им потеснее, — заметил я, показав на массивный пестерь, полный цыплят.

— Поздние, — улыбнулась хозяйка. — Шестьдесят штук. Пока живы все, а вот в прошлом году от сотни только половина осталась. Сдохли остальные... С чего бы это, не знаете?

На улице строгий окрик, скригнули колеса телеги, хозяйка возвестила:

— Сам приехал. С работы.. А я не успела кролика зарезать.

Я понял, что задерживаю хозяйку.

— Сидите, сидите, — послышалось от порога и в передний угол шагнул плотный мужчина лет сорока в новенькой телогрейке и выгоревшей «мичманке» с поломанным козырьком. — Сидите, — повторил он и сам опустился на сундук, предварительно сдержнув с него тканый коврик.

— Живем мы что ни на есть в углу, редко кто к нам забредет, а самим бывать у людей некогда. Время, знаете ли, не ждет, как пишет наша газетка, — завершим без промедления план осенних всех работ. Так-то...

— Молотили, небось? — спросил я.

— Не-ет... И без этого дел хватает. Одно слово — колхоз. Кто богатство для артели создает? Колхозник. Для себя? Опять не дядя. Все на нас держится. Потому надо вполне понимать свое политическое значение. И-и, милые мои, — запустил мужчина жилистую руку в пестерь. — А вот лонись много этой штуки у меня передохло. От чего бы это? Не знаете? Цыплятушки мо-ои...

Хозяин распахнул телогрейку, снял фуражку и с размаху стукнул ею по гвоздю вешалки.

— Опять касаето колхоза, — продолжал он, скосив на часы с кукушкой маленькие коричневые глаза и поглаживая рыжую бороду. — Да разве бы я

смог без него завести корову, кур и прочую живность? То-то и оно, что нет. Так, милый человек, и живем. Без артели нам нельзя никак. Ты для артели, она для тебя. Нынче не помудришь — не поживешь. Мать! — крикнул вдруг он, выглянув в окно, — встречай коровушку.

Хозяйка вышла, за дверью звякнула дужка подоюника, послышалось упругое постукивание молочных струй в оцинкованное дно. Взвыл пес, закудах тали куры.

Разговаривать с этим, по-моему, трудолюбивым колхозником было приятно, но надо было спешить.

— Да, да, сидеть хорошо, но дело есть дело, — поддержал хозяин, проводив меня на улицу.

— До свидания.

— Прощайте, — раздалось два голоса, один с порога, другой из-под коровы.

Я оглянулся на второй голос. Хозяйка, мило улыбаясь, выдаивала ту толстопузую, с пощербленными рогами корову, которую час назад я с пожилой колхозницей с таким трудом согнал с колхозной озими. Вспомнилось все то, что рассказывала престарелая колхозница, перед глазами мелькнули ее серебристые виски, глубоко залегшие морщины... Я с минуту не мог двинуться с места, словно меня придавила большая тяжесть.

А с порога меж тем доносилось:

— Может, посидели бы? Хозяйка корову подоит, крольчонка зашибем... Оставайтесь, а?

---



## СОДЕРЖАНИЕ

Елочка под карнизом . . . . .	3
Соседи . . . . .	13
У родника . . . . .	28
Белая пыль . . . . .	34
Седьмой волк . . . . .	45
Беленький платочек . . . . .	55
В дороге . . . . .	64
Конфуз . . . . .	70
У костра . . . . .	75
Лучше поздно... . . . .	82
Птички небесные . . . . .	90

---

Николай Николаевич Задумкин

### СОСЕДИ

Редактор *А. П. Гусев*

Художник *Б. И. Шабает*

---

ГЕО4063. Подп. к печ. 15. 11. 63 г. Бум. 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бум. л. 1,5. Печ. л. 4,11. Уч.-изд. л. 3,626.  
Тираж 5000. Цена 11 коп. Заказ 5174.

---

Областная типография, Вологда,  
ул. Калинина, 3.